
Михаил Успенский
ДУРНОЙ ГЛАЗ



Михаил Успенский



ДУРНОЙ ГЛАЗ

Красноярское
книжное
издательство
1988

84.3.Р2
У77

Рецензент
В. Ф. ПРОХОРОВ

Успенский М. Г.
У77 Дурной глаз. Юмористические рассказы. — Красноярск: Кн. изд-во, 1988 — 96 с.
ISBN 5—7479—0008—0

В книгу молодого автора вошли сатирические рассказы «Дурной глаз», «Красные помидоры», «Шаги командора», «Соловьи поют, заливаются» и другие, а также повесть «Устав соколиной охоты», обозначенная автором как «лубочный детектив».

В своих произведениях М. Успенский едко обличает те стороны сегодняшней жизни, которые уродуют духовный облик наших современников.

У $\frac{4702010200-015}{М147(03)-88}$ 16—88 **ББК 84.3.Р2**

ISBN 5—7479—0008—0

НЕЧЕСТНАЯ ДЕВУШКА

Часто ездя в автобусе по маршруту № 87, молодой рабочий одного из крупнейших в мире предприятий Костя Быкадоров сильно влюбился в одну девушку. Как звать девушку по имени, Костя не знал, а спросить стеснялся, да она бы и не ответила, потому что она была сфотографирована на карточку и приклеена на маленький самодельный позорный листок под заголовком в стихах: «Они не считают нужным оплачивать проезд. Они не имеют шесть копеек за проезд». На листке позорились разные люди на карточках, и вот среди них-то и находилась девушка редкой красоты и большого человеческого обаяния. Она даже не походила ни на одну артистку театра и кино, потому что была в десятки раз лучше их. Костя залюбовался на девушку и проехал свою остановку «Крупнейший завод». Возвращаясь со смены в общежитие № 6, он пропустил целый ряд автобусов, пока не дождался именно того, с позорным листком, и опять любовался. Он сначала решил отколупать карточку, но было стыдно: вдруг люди подумают, что это его девушка. Потом Костя решил: нет, наоборот, пусть как раз и думают, что у него такая девушка, и стал ее отколупывать. Это дело приметил в зеркальце шофер и начал громко срамить Костю по радио. Костя от срама покраснел и вылез на ходу.

С тех пор он всегда ездил этим автобусом, даже если ему было нужно в другую сторону. Потом листок сняли, повесили новых «позорников». Но Костя девушку не забыл, часто и хорошо о ней думал. Как же это так получилось, что она не взяла билет? Она, наверное, студентка педагогического института или театрального техникума. Она задумалась о своих будущих учениках или репетировала про себя пьесу «Отелло» и позабыла заплатить шесть копеек. Или, может, она иностранная девушка и не знает, что такое шесть копеек, а вредная кондуктор не захотела разменять чужую денежку — фунт стерлингов. Или, может, барахляный парень-фарцовщик обманул ее и бросил одну, без шести копеек на жизнь.

Потом они встретились. Костя быстро узнал свою



любимую. Он любовался живой девушкой вплоть до ее высадки на остановке «Баня» без взятия билета. С тех пор он часто встречал ее в средствах общественного транспорта. Билетов она по-прежнему не брала, и Костя начал примечать, что под глазами у нее круги, на шее встречаются синяки поцелуйного происхождения, от девушки в целом зачастую пахнет вином и водкой, одевается она не по средствам. Нужно было что-то делать. Костя взял фотографический аппарат и в солнечный апрельский полдень совершил с девушки снимок на пленку. Потом он напечатал снимок в количестве многих экземпляров. Фотопортреты он расклеил на листовки с надписью «У нее никогда нет шесть копеек за проезд!». Эти листовки Костя расклеивает в автобусах, в трамваях, даже в кинотеатрах. На его снимке нечестная девушка вышла еще краше, чем на прежнем позорном листке, и Костя надеется, что влюбится в нее хороший парень и поможет ей выйти на светлую, честную дорогу в жизни.

ЗОЛОТО

Была Аня Кирдяшова. Она приехала в большой город из села Зеледеево. Там у нее была бабка, но умерла, а перед смертью велела внучке копить золото — верное дело. Сама-то не накопила, так хоть внучка.

В городе Аня поступила работать техническим работником в одно очень известное учреждение. Технический работник — это техничка. А жила в общежитии кирзавода.

Стала Аня копить золото. То есть, пока не само золото, а деньги на его покупку. Не ела сладкого, в кино ходила только на дневные сеансы. Фильмы «Золото

Маккены», «Золотой поезд», «Золотой пояс», «Золотое путешествие Синдбада» и многие другие про золото она смотрела по сто раз.

Только накопит Аня денег, а золото, будучи предметом роскоши, и повысится в цене. Аня еще поднакопит, а оно еще дороже заделается. Только на третий год догнала-таки Аня золотишко: скопила тысячу рублей деньгами.

На работе дали Ане добрый совет:

— В магазин зря не ходи, там нету ничего. А ходи лучше возле магазина. Там иногда с рук продают.

И не только с рук, но и с шеи и из ушей тоже. Только обязательно возьми с собой азотной кислоты, покапай на золото. А то обжулят.

В своем учреждении утащила Аня целую колбу кислоты и пошла делать золотые покупки. Возле магазина «Дефицитные товары» толкались цыгане и вообще люди. Толкался там и Моня Радзиковский. Моня был красивый-красивый и очень хорошо одет: в дубленку и джинсы. Аня же Кирдяшова была еще девушка: в деревне испортить не успели, а в городе никто не позарился. Только один начальник по работе начал было хватать за бока, но Аня ему живо дала по рукам.

Такого человека, как Моня, Аня видела только в кино, и то один раз. Поэтому она разинула рот, да так широко, что Моня заметил.

— Вам золотых вещей не надо?— спросил.

Аня не сказала ничего, а закивала головой с разинутым ртом. Моня протянул ей цепочку, пару колечек, сережки в виде любящего сердца. Все эти вещи сильно блестели. Аня закрыла рот и отдала Моне тысячу рублей деньгами. Зажала золотые вещи в кулачок и побежала к себе — копить.

За углом она вспомнила про испытание кислотой. Вытащила из сумочки колбу и побросала туда золото. Золото пошло пузырьками и пропало в кислоте, как не было. Ане стало жалко себя, золото и деньги. Вернулась к магазину и колбу с кислотой тычет Моне:

— Где мое золото, паразит?

А Моня все понял и отказался — знать не знаю. Аня рассердилась и стукнула его хрупкой колбой в лоб. Про кислоту-то забыла. Моне стало больно, он громко закричал и ослеп. Всю красоту у него с рожи съела кислота.

Потом был суд. Судили, конечно, Аню Кирдяшову, так как Монино мошенничество растворилось в колбе. Сама Аня винила во всем себя, много и часто плакала, что погубила за тысячу рублей деньгами хорошего человека.

На суде выступил потерпевший от Ани Моня.

— Раньше мои мысли были заняты только наживой и чистоганом,— сказал он.— А теперь у меня появилось много времени на раздумья. Неправильно я жил, не по совести. Поделом вору и мука. Глаза мне эта девушка раскрыла...

И заплакал. И судьи заплакали, и все-все люди.

...Когда Аня вышла на свободу с чистой совестью, они с Моней поженились. Все мечты Ани сбылись. Золота у нее теперь навалом. Каждый вечер она приводит Моню за руку к магазину «Дефицитные товары». Моня делает вид, что обижается. На деле же он продолжает продавать всяким дуракам латунные подделки. А деньги он наловчился различать по шороху. На эти деньги Аня Радзиковская покупает натуральное золото, которое никакая кислота не берет, разве что царская водка.

ДУРНОЙ ГЛАЗ

Одна женщина в роддоме № 4 взяла и родила мальчика Николая Афанасьевича Пермякова. Когда Николая Афанасьевича, тогда еще просто существо, принесли первый раз кормить, существо раскрыло глаза и посмотрело на свою мамку так, что у нее враз пропало молоко в груди. Одна старая женщина из подсобного медицинского персонала объяснила всем желающим, что у ребенка дурной глаз.

— Глазик у ребенка дурной,— говорила она.

А на вид глазик как глазик. И второй такой же. Хотя и говорят в народе — «дурной глаз», а попробуй определи, левый дурной или правый дурной.

Покуда маму Пермякову не выписали, все в роддоме шло через пень-колоду. То батареи прорвет, то еще что-нибудь. А один мальчик, который лежал рядом с

Николаем Афанасьевичем, вырос и стал вор и бандит, был посажен в тюрьму и расстрелян.

Дома у Пермяковых тоже стало неблагополучно. Афанасий Пермяков по случаю рождения сына первый раз в жизни выпил и пьет до сих пор. «Не напьется никак»,— объясняет теща. У тещи, в свою очередь, сгорел свой дом в городе Барановичи Белорусской ССР. Мать помнила слово про дурной глаз и повела уже ходячего Николая к окулисту. Окулист долго смотрел в дурной глаз через специальный прибор, никаких болезней не нашел, посоветовал носить черные очки, а еще лучше — зеркальные.

Так и ходил Николай Афанасьевич — маленький, а в зеркальных очках, как цирковой артист-лилипут.

А тот окулист, Мовсесян Ваграпет Аршакович его фамилия, в тот день не пришел домой с работы, и никто его не может найти, хоть и объявили всесоюзный розыск. А не надо было в дурной глаз через специальный прибор глядеть — он же увеличивает, прибор.

Пришло число первое сентября. Надо идти в школу, Николаю дали портфель и цветы астры.

— Ой, нельзя ходить в темных очках!— стала ругаться первая учительница Николая Афанасьевича.— Так только одни стиляги делают. Сейчас же снимай очки!

Николай очки-то и снял. Учительница посмотрела ему в глаза. У нее через неделю должна была быть свадьба. Куда там! Жених ее, известный в городе таксист Леха, полюбил вдруг не ее, а артистку эстрады на гастролях. Он возил ее по городу, так как она за вечер три-четыре концерта пела, уехал за ней и ездит теперь следом за ней повсюду, кроме заграники.



Сам Николай думал и говорил, что у него глазки болят. К другим окулистам мать его не водила, жалела их. Тут Николаю и пришла повестка в ряды армии. Конечно, на медкомиссии тоже был окулист — военный врач-офицер. Он признал, что глазки у Николая не

больные, а нормальные, и надо служить. Вечером окулист пошел с одной знакомой в ресторан, выпил маленько, а запьянел сильно, разбил витрину и многое другое. Пришлось ему отсидеть на гауптвахте и заплатить очень много денег, а потом еще над ним был суд офицерской чести. Звездочка одна полетела.

Николая привезли в армию, и прапорщик Огурной повел его с другими новобранцами в баню. Пермяков и в баню пошел в очках, хоть и голышом.

— Очки, салага, на гражданке оставь!— сказал ему прапорщик и снял с него очки. Поскользнулся на скользком полке, полетел вниз и там поломал руки-ноги.

Солдату в темных очках быть не положено, если не дембель. Так что в этой самой войсковой части стали твориться всякие дела: то солдат домой убежит, то инспекция какая-нибудь. За полтора года трех командиров сменили с понижением. Только когда Николай стал старослужащим солдатом дембелем, он пошел в солдатский магазин «Военторг» и купил себе темные очки. Надел очки, и часть мигом стала ходить в отличных.

Отслужив, как положено, Николай домой не вернулся, а поехал жить в большой город. Он все еще не знал, что у него за глазки такие. Не нашлось на него старой женщины, чтобы сказать:

— Глазик у вас дурной, Николай Афанасьевич!

Одни только цыганки, когда Николай Афанасьевич снимает на улице очки с целью протереть, шарахаются от него, как от милиционера. Цыганки знают, что почем.

А недавно он очки разбил по случаю гололеда. Только хрустнули! И теперь любой и каждый запросто может встретиться взглядом с Николаем Афанасьевичем на улице, в автобусе, в кинотеатре. Николай Афанасьевич хочет купить очки у тех же цыганок, а они разбегаются.

Я и сам днями его видел. Сижу и чувствую — что-то не то. Ну вот, и пишущая машинка сло

ПРЕВРАЩЕНИЕ II

Однажды утром, проснувшись после беспокойной ночи, директор научно-исследовательского института Григорий Евсеевич Замараев обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

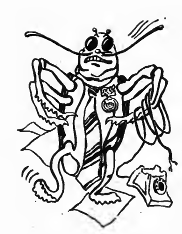
Насекомое, в которое превратился Григорий Евсеевич, было совсем как таракан, только побольше. Жена Замараева, спавшая с ним по французскому обычаю — раздельно, стала будить его на работу и все увидела. Она не стала поднимать лишнего шума, а подняла только самый необходимый: вызвала заместителя Григория Евсеевича и еще одного товарища. Оба приехали. Тут Григорий Евсеевич как раз сумел многими ножками спихнуть с себя одеяло и стал выглядеть совсем несолидно. Перед собравшимися со всей остротой встал вопрос: может ли Григорий Евсеевич в таком состоянии возглавлять крупное научное учреждение? Жену увольнение не устраивало: из супруги известного ученого-администратора она превращалась в соломенную вдову при таракане. Заместитель тоже не радовался: неизвестно еще кого поставят взамен. А еще один товарищ в свое время лично рекомендовал Замараева в директоры и теперь боялся ответственности. Поэтому было решено оставить Григория Евсеевича в занимаемой должности. Только жена потребовала, чтобы из квартиры его убрали к чертовой матери.

Заместитель поехал в институт и там довел до сведения сотрудников информацию о новом облике директора. Все согласились и проголосовали. Тогда заместитель послал за шефом машину и двух грузчиков.

Григория Евсеевича доставили в институт и занесли в кабинет. В директорском кресле ему было неловко. Замараев заполз на стену да там и остался. Секретарша сперва заробела, но потом привыкла, даже погладила его. На полу кабинета разложили карточки со словами, наиболее часто употребляемыми при руководстве институтом, и Григорий Евсеевич с помощью усов начал давать указания и выпускать приказы.

Долго не знали, чем директора кормить. И того ему было не надо, и этого. Сотрудники, вернувшиеся из заграничных командировок, приносили, отрывая от себя, заморские плоды и кушанья — все равно не ел, пока не принесли к нему в кабинет получку. Он сразу набросился на деньги, сжевал рублей сто и утих. Потом остальное доел.

Институт работал, наука неуклонно двигалась вперед. Когда приезжал кто-нибудь с проверкой, говорили, что директор болен. А однажды приехал в институт такой высокий гость, что безо всяких предупреждений про-



шел прямо в кабинет к Замараеву н увндел страшное насекомое. Тут однн находчнвый сотруднпк объяснил гостю, что Грнгорнй Евсеевич только что вернулся с полигона, где проводнл опасный для жизнн опыт в спецнальном скафандре с манипуляторами, н, чтобы покннуть скафандр, нужен довольно длительный пернод адаптацни. Высокнй гость не стал ждать, похвалил самоотверженность Замараева, но впредь настрого запретил рисковать собой.

И все бы ннчего, и все привыклн, и даже секретарша стала относнться к днректору по-прежнему, да вот беда: ему н в человеческом облнке денег не хватало, а тут он н вовсе озверел. Раньше-то он мог набнться в соавторы или органнзовать сбор денег себе на подарок, а теперь вынужден был в днн выплаты прятаться за углом у кассы, нападал на коллег, кусал, пока не затыкалн ему пасть десяткой-другой. В этн же днн прнходнла неработающая жена, вырывала у таракана часть добычн.

Однажды институт получнл крупную международную денежную премню. Вручали ее в торжественной обстановке. Грнгорнй Евсеевнч махал усамн до тех пор, пока н его не взялн на торжество. В презнднум, правда, не посаднлн — спрятали за кулнсамн. Он же, покуда говорнлн речи, вместо того, чтобы слушать теплые слова в свой адрес, бесшумно подкрался и всю как есть премию сметелнл. У него брюхо так раздулось, что своим ходом вернуться в кабнnет не мог! Сотруднпкн очень обиделись. Некоторые предложили мазать деньгн раствором цианистого калия илн, на худой конец, посыпать дустом, но, подумав толком, понялн, что может быть скандал, когда выяснится, что их учрежденнем руководнл простой таракан, только большой. Куда потом пойдешь? Всюду скажут: «А, ты у таракана работал!».

В это время в институт прннялн уборщицей девушку Сорокопуд Валентнну. Раньше она жила в таежном

поселке, а теперь ей нужен был стаж по профилю. Про дирёктора же ее предупредить совсем забыли.

Она вечером пришла убрать в кабинете. Григорий Евсеевич к ней пополз из угла — то ли пошутить хотел, то ли еще что. Но Сорокопуд Валентина в детстве ходила с отцом на медведей и одного даже завалила сама. Поэтому она взяла швабру и до тех пор колотила страшного таракана по башке, пока не убила. Сволокла за усы в котельную и сожгла в печи. На счастье Сорокопуд Валентины убитый таракан не превратился в труп Григория Евсеевича, как это зачастую бывает еще во всяких зарубежных романах ужасов, с которыми этот рассказ не желает иметь ничего общего.

СОЛЬ II

Однажды в одном большом-большом городе, почти что в Москве, жила нестарая еще женщина Шипишина. Она была городская, да не совсем, потому что приехала когда-то в город из поселка Полезное и вышла замуж за опытного инженера-конструктора. Шипишина и сама работала в одном месте. Она полюбила в городе красиво одеваться и поесть любила как следует. Поэтому большую часть жизни ей приходилось проводить в очередях. Там она испытывала острую зависть к тем женщинам, которые с грудным ребенком. Их почти всегда отпускали без очереди. И вот Шипишина пристала к своему мужу, опытному инженеру-конструктору, чтобы он сделал ей ребенка для стояния в очередях без очереди. Шипишиной муж пораскинул мозгами, не поспал ночь-другую и сделал действующую модель грудного ребенка. Это была такая хорошая модель грудного ребенка, что могла плакать и мочить пеленки. Для крику одна кнопочка, для пеленок другая. А так совсем как настоящий — и ротик, и все.



И вот Шипишина стала стоять без очереди. А если начинали ворчать, что дети у всех есть, нажмет кнопочку, люди и пожалеют дитя. Дело до того дошло, что даже в тот самый памятный день, когда в магазине «Дефицитные товары» выбросили канадские сапоги-босоножки, Шипишина включила своего младенца на полную мощность, и многие даже совсем из очереди убежали, потому что в младенца была вмонтирована милицейская сирена, и они подумали, что ихнюю очередь едут разгонять с милицией. А Шипишина спокойно так взяла шесть пар — и все дела.

Жить Шипишиной стало совсем хорошо. Работать в одном месте она вовсе бросила и стала допускать в своих действиях элементы спекуляции. Костюм из джинсового гипюра толкнула аж за девятьсот рублей! Так-то что не жить?!

И в этом же городе, где Шипишина, жил один старичок. Ему тоже было положено все без очереди и другие льготы. Он их заслужил и заработал. Но старичку почти ничего не нужно было, и в магазины он ходил исключительно из любопытства — посмотреть, что за народ нынче пошел. И вот он приметил Шипишину и задумался: что же это за интересное дите, которое уже года четыре все грудное и маленькое и кричит все время одно и то же? Старого человека не обманешь. Однажды он незаметно подошел к Шипишиной да ребеночка-то и потрогал. Ребеночек твердый, холодный. Старичок тихонько и говорит Шипишиной, чтобы она ушла из очереди по-хорошему, не позорила советское материнство. Шипишина как зашумит на старичка, а за ней другие. Обозвали его старым пнем, старым хреном и другими пожилыми растениями.

И Шипишина подумала, что вот надо было бы заставить мужа сделать действующую модель старичка-инвалида со льготами. Но до искусственного старичка дело не дошло, так как на следующий день настоящий старичок настиг Шипишину в одном магазине. Старичок был не один, а с боевой подругой — острой шашкой, подаренной лично Семеном Михайловичем Буденным. Старичок показал шашку очереди и сказал, что махал ею для того, чтобы присутствующие жили счастливо. Но не настолько же счастливо, как Шипишина!

И старичок как рубанет шашкой твердого младенца! Не выдержал тот удара конармейской шашки, раско-

лолся, на пол из него посыпались транзисторы, интегральные схемы, пружиночки, гаечки и другая дрянь, которую применял Шипишиной муж. А потом пришлось старичку этой же шашкой отгонять от Шипишиной склонных к самосуду гражданок.

Долго не казала Шипишина в магазины носа. Попереживала, а потом нашла себе заделье. На работу она не пошла — совсем от этого дела отвыкла. Шипишина просто ходит и собирает бутылки. Но знаете на сколько Шипишина сдает бутылок в день? На четыреста сорок рублей шестьдесят копеек!

Потому что Шипишиной муж придумал такое вот специальное устройство...

НЕРАССКАЗАННЫЙ СОН

В одном месте шло совещание. То есть еще не шло, а только собиралось идти — сидели, курили, разговаривали. Вот один сотрудник и говорит:

— Видел я нынче удивительный сон, что у меня ноги отдельно ходят. Они ходят, а сам я на месте сижу...

Тогда главный бухгалтер тоже говорит:

— Это что за сон? Это разве сон?! Вот я нынче видел сон так сон! Будто руки у меня выросли такие длинные, что я сам тут сижу, а правой рукой с шурином здороваюсь. А живет мой шурин, надобно вам знать, аж в самом Южно-Сахалинске.

Потом еще кто-то сон рассказал, потом еще. Один другого чуднее. Только один молодой начальник отдела сидит себе в углу да помалкивает потихоньку. Директор его спрашивает:

— А что же ты, начальник отдела, не поведаешь коллективу своего сна?

Начальника отдела была фамилия Дурасов. Дурасов и говорит:

— Нет уж. Мои сны — это мое личное дело.

С той поры житье Дурасову стало худое: принялись его все гонять, шпынять да попрекать. А потом и совсем уволили. Тогда Дурасов затеял жаловаться, жаловался сильно и долго, аж комиссия приехала. Послушала комиссия Дурасова и диву далась:

— Во дают! Во самодуры! Этого уж мы так не ос-

тавим! Наведем порядок! А ты, Дурасов, уж нам-то расскажи свой сон.

Дурасов и говорит:

— Прости меня, высокая комиссия, но мои сны — это мое личное дело.

— Ну и оставайся при своих снах!— вскричала комиссия и поехала прочь.

Потом еще одна комиссия приезжала и еще. Никому Дурасов своего сна не поведал. Приезжал даже один журналист специальный. Статью написал —«Клеветник-сновидец». Читали, поди?

Дурасов опускался все ниже и ниже. И вот уже сидит под забором с бичами, делится своим горем.

— Крепко тебя жизнь стукнула,— говорят бичи в утешение.— Ну да ты не печалься. С нами не пропадешь. Да заодно, кстати, расскажи нам, корешкам своим, тот сон.

Дурасов и говорит:

— Простите, корешки, но мои сны — это мое личное дело.

— Крепко тебя жизнь стукнула,— говорят бичи.— А уж мы, бичи, стукнем еще крепче!

Стали его бить, колотить, по матери навеличивать. Да там же, под забором, и бросили.

Лежал Дурасов, пьяный да битый, и спал. А во сне он видел свой нерассказанный сон. Сон был вот какой: сидит Дурасов в своем кабинете, в глубоком кресле. Пьет чай и другие напитки. А у него в приемной сидят и директор, и главный бухгалтер, и члены всех комиссий. И даже бичи, и те сидят. А он не торопится их принимать — томит неделю, месяц, год. Они-то к нему рвутся, чтобы сны свои поведать.

А на что Дурасову ихние глупые сны?

КРАСНЫЕ ПОМИДОРЫ

Один кандидат наук стал доктором этих же самых наук. Его звали Аристарх Калистратович. Это дело нужно было отметить. Вот Аристарх Калистратович и решил устроить дома званый ужин, а не в ресторане каком-нибудь, чтобы разговоров лишних не было: дали, мол, степень за коньяк и закуску. Люди ведь всяко могут подумать. И Аристарх Калистратович пошел

на базар с большой сумкой купить кое-каких продуктов, чтобы не стыдно было людей угостить.

Дело было зимой. С овощами и зеленью туго. Купил Аристарх Калистратович, не торгуясь, ведерко черной икры, да ведь одной икрой гости сыты не будут. Они эту икру видели-перевидели, других бы он и в гости сроду не позвал. И вот он видит, что стоит мужчина за прилавком и вовсю торгует красными помидорами. Внешность у мужчины самая что ни на есть славянская, безо всякого кавказского вмешательства. Люди подойдут, спросят, почем. Он ответит, человек плюнет и отойдет, да еще обзовет торговца обидно. Тот в долгу не останется — тоже загнет как следует. Так вот и стоит, торгует и матерится.

Аристарх Калистратович тоже спросил цену. Оказалось, маленечко дешевле черной икры. Зато гости как довольны будут, а ведь надо еще в академики пробираться!

— Бери, так твою перетак!— сказал торговец и насыпал доктору наук полную сумку помидоров, а себе полный карман денег.

Аристарх Калистратович пришел домой и гордо высыпал на стол помидоры. Тут жена его и увидела, что помидоры вовсю зеленые. Жена как закричит:

— Ты чего купил? Это помидоры или что? А еще доктор наук, очки напялил! Этим помидорам еще расти да расти!

А узнав цену, стала кричать пуще прежнего. Тут услышал Аристарх Калистратович и те выражения, которые употреблял торговец, и те, которые он вовсе забыл со времен трудного возраста. Глядит доктор наук на помидоры, а они на глазах краснеют. Тут он и припомнил одну научную статью, что растения все чувствуют, а некоторые даже кое-что соображают, совсем как мы с вами. Видно, это свойство и заметил за помидорами хитрый спекулянт. Сидит у себя в парничке и лается почем зря, а потом первые помидоры на рынок выбрасывает, придерживая в цвете матком.

Жаль денег, жаль и помидоров. Страшно и перед гостями опозориться. Но все-таки не зря стал Аристарх Калистратович доктором наук!

Сперва он попытался перед овощами зарубежный порнографический журнал листать. Но помидоры, видно, только на звук могут краснеть. Попробовал доктор



наук немножечко поругаться. Сначала слабо выходило, а потом ничего, разговорился. Краснеют!

И вот пришли гости. Поздравляют Аристарха Калистратовича на все лады. Он встал и говорит:

— Давайте, друзья мои, сегодняшний вечер проведем в свободной, раскрепощенной обстановке. А то и на работе и дома только и знаем, что научными терминами сыпать. Но ничто так не украшает речь, как крепкое, соленое, простонародное словечко. Так вот, я предлагаю сегодня забыть, что бывают неприличные слова, и выражаться, у кого как душа лежит!

Гости сперва покоробились, потом покобенились, а после второй рюмочки и согласились. Слово за слово, матерок за матерок — вот и образовалась за столом атмосфера непринужденности, которую и ждал хозяин.

— А вот сейчас сюрприз, растудыт вашу!

И хозяйка несет помидоры — краснущие, того и гляди лопнут.

— Ничего себе!— закричали гости. Они, конечно, не совсем так закричали, однако смысл тот же.

Словом, вечер прошел как надо. Одно только плохо: помидоры слопали, а привычка осталась. И все эти профессора и академики стали загибать такие выражения, что никакого словаря Даля выпуска 1909 года не надо. Особенно навострилась в этом деле семья Аристарха Калистратовича. Однажды они заманили при помощи водки к себе известных в микрорайоне слесарей-сантехников Сережу Рыло и Саню Гидролизного — починить кран. Минут через пять сантехники вылетели из квартиры доктора наук, как ошпаренные.

— Там одни матерщинники живут!— жаловались они соседям.

Да, не приходится сомневаться в разумности растений.

РАЗМНОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

В одном крупном-крупном тресте начальником был Иван Палыч. Как и любой мыслящий руководитель, Иван Палыч терпеть не мог, когда вокруг было много бумаг. К такому же порядку он приучил своих сотрудников, чтобы не разводили лишней писанины.

Как-то утром Иван Палыч прибыл на работу и открыл сейф. Он точно знал, что на верхней полочке у него лежат всего-то две бумаги: приказ об увольнении пьяницы Шнеллер-Бугаевского и распоряжение о перемене мебели в служебных помещениях. А тут увидел, что лежит какая-то третья. И все в этой бумаге честь по чести: и бланк, и печать. Только содержание непонятное — наградить сотрудника Цыгамку Н. Ф. вращающимся креслом по случаю пятидесятилетия беспорочной службы в тресте. Мало того, что в штате сроду не было сотрудника Н. Ф. Цыгамки — самому-то тресту было всего десять лет. Иван Палыч напустился было на секретаршу, а потом ему неловко стало, извинился. Дурацкую же бумагу порвал и бросил в корзину.

Открыл папку, что лежала на столе, и диву дался — бумаг в ней было чуть ли не вдвое больше, чем вчера. Одни бумаги он составлял лично, другие просматривал. А вот третьих он и в глаза не видел! И было в этих бумагах что попало: и об отгрузке каких-то бульдозеров, и об аморальном поведении главного механика, известного в тресте аскета, и о лишении квартальной премии всех сотрудников треста, включая самого Иван Палыча.



Назавтра стало еще хуже. Лишних бумаг прибавилось. Иван Палыч забросил все дела и только сортировал документы, отделяя настоящие от ложных. Он категорически запретил заходить в свой кабинет и велел принести ему муфельную

печь — сжигать фальшивки. А уходя поздно вечером домой, накрепко опечатал кабинет и канцелярию.

Это не помогло. Сначала Иван Палыч грешным делом подумал, что над его сейфом потрудился медвежатник, а потом понял, что сейф просто лопнул по швам — столько в нем оказалось документов. Опять допоздна раскладывал и жег бумаги. Но отделять настоящие от ненастоящих стало труднее: по форме и содержанию они начали приближаться к трестовским. И чуть было не положил к настоящим приказ об увольнении известного бездельника Чурина, да вовремя вспомнил, что Чурин — молодой специалист и с ним придется валандаться, сколько положено.

Тогда Иван Палыч решил обратиться к одному человеку — трестовскому истопнику. Дело в том, что этот истопник здорово разбирался в генетике. За это его в свое время попросили из ученых, а когда опять попросили назад, он в ученые не вернулся, так и остался истопником. Истопник выслушал рассказ начальника и намекнул, что без бутылки не разобраться. У Ивана Палыча в холодильнике было на всякий случай. Истопник посидел-подумал и сделал научное заключение.

Он объяснил, что в обычных условиях бумаги размножаются, так сказать, вегетативно: из одного документа проистекает другой, из другого — третий и так далее. При этом бумаги еще как бы паразитируют на человеке: он сам их составляет, оформляет и кладет печать. А в тресте у Ивана Палыча с его ненавистью к бумагам сложилась обстановка, неблагоприятная для обычного способа размножения. Борясь за сохранение вида, документы перешли на более высокую стадию развития и стали размножаться половым путем. Причем приказы и распоряжения решительного, радикального характера несли в себе мужское начало, а те, что были направлены на поддержание внутреннего порядка, снабжения и т. п. — женское. Кроме того, бумаги, чтобы не угодить в печь, начали приспосабливаться и мимикрировать под подлинные. Скоро их вообще невозможно будет различить. Трест ждут хаос и анархия. Ивана Палыча — соответствующие выводы.

А после второй бутылки истопник придумал, как спасти трест. Во-первых, ни в коем случае нельзя класть два документа вместе. Во-вторых, лучше завести для каждого отдельную папку. В-третьих, если все-таки

придется подшить для дела иесколько бумаг, следует переложить их плотиым картоном.

Иван Палыч так и сделал. Теперь у него весь трест завалеи папками, каждая бумага лежит отдельно, и от этого создается ложиое впечатление. «Ну и бумаг Иван Палыч развел!— удивляются люди.— Совершеино на него не похоже!».

Но Иваи Палыч и бывший истопиик, а ныие главный делопроизводитель треста, лучше знают, что иа кого похоже, а что не похоже.

ЛЕГЕНДА КРЫМА

Вот какую историю часто любят рассказывать коренные жители Крыма приезжим людям. Есть в Крыму одии завод средней величиины. И этот завод выпускает продукцию среднего качества. И вот, чтобы ои выпускал продукцию не среднего качества, а получше, с другого завода, что расположен иа Крайнем Севере, в Крым прислали молодого инжеиера Голякова, до зубов вооружив его рекламациями.

В Крыму Голяков никогда ие был и очеиь удивился, что здесь так тепло и вино такое дешевое. Удивлялся он иесколько дней подряд и не казал носа иа завод средней величиины. А одиа девушка затащила его на прогулочный катер. Катер весело побежал прямо в Черное море. Вдруг поднялся ветер неслыханиой силы. То есть слыханиой, ио очень давно, со времен урагаиа, потопившего аигло-фраицузскую эскадру в период Крымской кампаиии.

Пассажиры перепугались, крикнули капитана. Капитаи вышел к людям и закричал:

— А иу, честно призиавайтесь — комаидированные есть?

Так как Голяков был уже выпимши, ои возьми да и признайся — я, мол.

Тотчас наскочили иа иего два дюжих матроса и пиками прогнали за борт. Черное море само успокоилось и успокоило пассажиров.

— Не любит море командированных,— пояснил капитан.

А к Голякову подплыла иебольшая черноморская акула-катран и, сильно подиатужившись, проглотила, насколько влез.

...Старые люди рассказывают, что в дни совещаний и планерок прямо под окна кабинета директора завода средней величины, не боясь промышленных отходов, подплывает рыба с человеческой головой и руками. Громким голосом эта рыба выкрикивает обличающие слова рекламаций. Легенда гласит, что в тот день, когда высказывания и претензии чудесной рыбы будут услышаны руководством завода, запротоколированы и приняты к сведению, злые чары падут, и на берег выйдет недурной собою молодой человек с командировочным удостоверением.

В эту легенду верят все, кроме работников завода средней величины. Но и они, проводя совещания и планерки, накрепко закрывают все окна и задвигают шторы, даром что в этом самом Крыму жарища — страшное дело.

РУКА В МИНИСТЕРСТВЕ

Инженер Колобихин ну никак не рос по работе. Всякие сопляки уже стали начальниками отделов, а он все еще сидел на том же месте, которое занял после института по распределению. Причину успеха соперников он знал твердо: у них у всех рука в министерстве была. А у Колобихина такой руки не было. Вот если бы у него тоже была рука в министерстве, тогда другое дело. Колобихин часто и громко жалел о том, что у него такой руки нет.

Жалел он так громко, что его жалобы дошли кое до кого. И этот самый кое-кто, всегда готовый потрафить низменным человеческим желаниям, явился инженеру Колобихину и предложил ему организовать руку в министерстве. Колобихин, конечно, согласился и, радостный, пошел на работу. По дороге он от радости ничего не замечал и попал под трамвай, который отрезал ему правую руку по плечо. К счастью, мимо шла «скорая помощь», и Колобихин остался жив. А вот отрезанная рука куда-то пропала. Думали, что ее утащили хулиганы. На самом же деле рука уже была по дороге в министерство.

Колобихин оклемался и принялся обвинять кое-кого в членовредительстве. Но кое-кто живо организовал ему

замечательный японский биомеханический протез. Этим протезом можно было делать все-все, даже фигушки показывать. Колобихин снова приступил к работе, но уже начальником отдела — пришел такой приказ. Это рука у себя в министерстве взялась за дело. Она поселилась в приемной за шкафом и делала оттуда набеги, неутомимо вписывая во все приказы и распоряжения фамилию Колобихина. Все сначала удивлялись такой фамилии, а потом привыкли — жалко, что ли?

Колобихин рос, как хороший грибок. Давно остались позади бывшие начальники, которые опомниться не успевали, как Колобихин занимал их место. Видно, рука у него в министерстве, думали они, и были глубоко правы.

Рука между тем обнаглела и стала появляться в коридорах и кабинетах среди белого рабочего дня. То тут, то там, чуть прихрамывая, бегала она на двух пальчиках. Одному пылинку с пиджака уберет, другому зажженную спичку поднесет, третьему в затруднительную минуту затылок почешет. Поперворсти некоторые пугались, особенно женщины, но после обвыклись и многие даже стали с рукой здороваться. По мере служебного роста Колобихина рука уже сама стала выбирать, с кем здороваться, а кому просто так помахать. Когда Колобихин приезжал в министерство за наградами и повышениями, они с рукой делали вид, что знать не знают друг друга. Какой-то министерский остряк попробовал было прозвать Колобихина Гецем фон Берлихингеном, но напрасно, потому что больше ни один человек в министерстве не знал, кто такой Гец фон Берлихинген.

До министра доходили слухи про какую-то там руку, но он им значения не придавал до тех пор, пока не зашел однажды в кабинет и хотел было сесть в кресло, но что-то уперлось снизу и не пускает. Тут он и увидел руку. Она решила, что настал час Колобихину в этом кресле посидеть.

Министр в жизни всякого повидал и не растерялся, а, поставив свою руку на стол, предложил чужой руке честный бой. Колобихинская рука была крепка, борьба затянулась надолго. А министр-то уже в годах. Туго бы ему пришлось, но тут, на счастье, прозвенел звонок, символизирующий конец рабочего дня. Рука Колобихина, рефлекторно привыкшая действовать только от звон-



ка до звонка, расслабилась, и министр без труда повалил ее, скрутил и велел выбросить вон.

Посрамленная рука по шпалам поплелась к хозяину. Покуда она добралась до дому, Колобихину уже дали по шапке, лишили всех наград и званий, чуть не отдали под суд. А тут еще рука вернулась на прежнее место, и все узнали, что Колобихин обманщик, и была еще целая куча неприятностей — и Колобихину, и министру, и многим другим, чего, собственно, и добивался кое-кто, затеяв всю эту историю.

ПРО ШИШМАРЕВА ДА ГАПЕЕВА

В одном городе, в одном доме, на одной лестничной площадке жили два человека. Одного человека звали Шишмарев, он работал лекальщиком на крупнейшем заводе. «Рабочим академиком» прозвали его в народе с легкой статьи заезжего корреспондента. Зарабатывал Шишмарев солидно, а жила его семья не очень — все-таки семеро детей, да престарелые родители в деревне, да забулдыга брат с такой же семьищей.

Гапеев же был обыкновенный инженеришка, и даже не настоящий инженер, а так — то ли по этике, то ли по эстетике. Шишмарев подсчитал как-то на досуге, что без такого специалиста, каков Гапеев, их завод может работать еще восемьдесят два года. Но денежки Гапееву шли уже сейчас, хоть и небольшие. Поэтому Гапеев старался добывать их на стороне, и довольно удачно: он уже купил себе все, что можно, и начинал подумывать о покупке того, чего нельзя. Жена Гапеева была его настоящим другом и единомышленником, поэтому детей у них не было.

И вот однажды в дверь к Гапееву постучали, хотя рядом и был звонок с музыкой из кинофильма «Кавказская пленница». Гапеев открыл дверь и увидел, что

стучится пьяненький старичок в телогрейке. Старичок принялся врать, что у него маленько не хватает на билет до Караганды. Гапеев его слушал-слушал да как покатит с лестницы! Старичок загремел. На грохот выскочил на лестницу Шишмарев и семеро его сыновей. Они подобрали старичка, принесли к себе в дом, забинтовали ему голову. Старичок покушал и сомлел на диване. Утром Шишмарев обещался достать ему денег на билет. Но когда все проснулись, старичка не было. А на столе стояла большая старинная бронзовая ваза наполненная золотыми монетами.

Шишмарев с сыновьями потащил вазу куда положено. А там спросили, где Шишмарев ее взял. Он и расскажи про старичка пьяненького из Караганды. Над Шишмаревым принялись звонко смеяться и отпустили, взяв на всякий случай подписку о невыезде.

С того дня жизнь Шишмарева пошла наперекосяк. Время от времени его вызывали и спрашивали про вазу. На дом к нему приходили ученые археологи и уговаривали сказать, где он ее выкопал. «Одну сдал — пяток припрятал!»— говорили злые языки. Даже на родном крупнейшем заводе прошел слух, что Шишмарев по причине многодетности связался с валютчиками.

От горя жена Шишмарева до того дошла, что как-то в лифте начала плакаться жене Гапеева и все ей рассказала. Гапеиха сообщила мужу. Гапеев, выбрав свободное от ковров место, принялся колотить головой об стену. Вдоволь наколотившись, побежал в город. Три дня и три ночи без содержания он бегал по вокзалам, подворотням, котельным и другим местам, где любят бывать старички, которым не хватает на билет до Караганды. И нашел старичка на стадионе — он собирал оставшуюся от хоккея посуду. Гапеев схватил старичка в охапку, привез домой и стал потчевать черной икрой, кавказскими фруктами, португальским портвейном. Гапеиха нарядилась во все лучшее и с посильной помощью рояля «Стейнвей» пела популярные песни прежних лет, ладя угодить старич-



ку, чтобы вспомнил молодость. Откуда Гапеихе знать, что молодость старичка прошла столь давно, что от его любимых песен не осталось ни текстов, ни мелодий!

Старичок слушал-слушал и сомлел, как у Шишмарева. Гапеев перенес его на супружескую кровать, жена легла на раскладушке, а Гапеев сел в кресло и ждал благодарности. Гапеев-то знал, куда следует нести золото. За мечтами он как-то задремал, а когда открыл глаза, увидел, что старичка нет, а на столе стоит бронзовая ваза. Гапеев засунул в нее голову. А в вазе было то, что золотом в народе называют разве что в шутку.

...Шишмарева не дали в обиду заводские друзья и товарищи. Больше его вопросами про золото не донимают. И даже выплатили полагающийся процент. Но теперь Шишмарев не только на золото, а и на бумажные деньги смотреть не может. Зарплату за него получает жена по доверенности.

...А Гапеевы погоревали, поплакали, опростали вазу в мусоропровод и тщательно вымыли. Гапеиха еще накапала туда розового масла — три рубля капелька. И теперь эта ваза на почетном месте стоит. Когда приходят гости, им первым делом покажут эту вазу. «Влетела в копеечку!— хвалится Гапеев.— Зато и вещь!».

Но гости нет-нет, да и поведут носами, принюхиваясь. А потом думают — нет, показалось. В самом деле, откуда в квартире, где весь санузел западно-германского производства и стоит четыре тысячи, взяться этакому постороннему запаху?

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ

Один человек писал стихи. Фамилия у него на вид была хорошая, героическая, а на слух не очень: Сабленосов. Сам Сабленосов думал, что он поэт, а другие люди так не думали. Но Сабленосов все равно писал стихи и скоро написал их целую книгу. Книга называлась очень красиво: «За лебединой стаей журавлей». Но так как печатать Сабленосова никто не хотел, книга получилась самодельная. Хотя на вид почти как настоящая — в переплете и с иллюстрациями из журналов «Работница» и «Крестьянка». И все равно так никого и не смог Сабленосов уговорить, чтобы прочли его

книгу. А ведь стихи он писал исключительно ради славы, чтобы имя его у людей изо рта не вылазило.

Тогда Сабленосов сделал вот что. В аэропорту он подстерег одного известного нашего поэта, который везде путешествует, и незаметно засунул свою книгу в его дорожную сумку. Лететь поэту долго, может, и прочтет.

Лететь поэту было и вправду долго — аж в Бразилию. В полете он заискался чего-то в сумке и наткнулся на подкинутую книгу. С ужасом прочитав несколько стихотворений, поэт почувствовал, что просто физически не может находиться в одном помещении с этим кошмарным творением. Он прошел к пилотам и попросил, чтобы ему дали возможность либо выпрыгнуть самому, либо выбросить книгу из самолета. Мировая известность и большое личное обаяние поэта сделали свое дело: книга Сабленосова с позором покинула борт «Боинга» и, кружась, полетела вниз, где простирались бескрайние бразильские джунгли.

В это время малоизвестное науке племя тиритомба справляло небольшой религиозный праздник на поляне. Упавшую к ногам руководителей племени прямо с неба книгу тиритомба истолковали, конечно, с идеалистических позиций и тут же начали ей поклоняться.

В настоящее время культ книги «За лебединой стаей журавлей» растет и крепнет. Тиритомба намыли маленько золотишка и отправили в большой город самого смышленого юношу. С помощью золота и выдающихся личных способностей юноша сумел перевести книгу и выучил все пятьсот восемьдесят два стихотворения наизусть. Теперь они составляют основу всей духовной жизни индейцев тиритомба. Даже дети в этом племени знают, какое стихотворение следует читать перед охотой на ягуара, как с помощью венка сонетов увеличить мужскую силу, сколько раз нужно повторять поэму «Зазнобушка», когда засушиваешь голову побежденного врага. Тиритомба — народ воинственный. Вдохновившись стихами, они встают на тропу войны и несут слово Сабленосова все дальше в джунгли. Покоренные племена принимают новую веру. Скоро этот феномен заметят этнографы и напишут о нем.

Но, к сожалению, сам Сабленосов так никогда и не узнает о своей небывалой славе в джунглях Амазонки, потому что никогда не читает ничего, кроме своих стихов.

ИСКУШЕНИЕ

По аллее парка шел к себе на работу инженер Малинников. Он никого не трогал, просто шел и шел. И увидел, что на одной скамеечке, укрывшейся в кустиках, стоит сумка. И не какая-нибудь дерюжная, с портретом сомнительного певца или певицы, а хорошая, кожаная, объемистая, со множеством дополнительных кармашков. Кроме того, сумка была украшена наклейками различных зарубежных отелей. Инженер Малинников почувствовал, что устал от ходьбы на работу и присел отдохнуть на ту же скамеечку, что и прекрасная сумка. Отдыхая, инженер между делом принялся размышлять, чья бы это могла быть сумка и что бы в ней могло быть. Уж, наверное, не папка с отчетами и не бутылка пива. Да и сама сумка дорого стоит.

Раньше, до встречи с сумкой, Малинников ничего чужого не брал. Поэтому он схватил сумку не сразу, а довольно долго елозил рядом с ней по скамеечке. «Не я, так кто-нибудь другой»,— подумал он и побежал сквозь кусты к выходу из парка. На ходу он начал разочаровываться в сумке из-за ее легкого веса. «И положить-то, сволочи, ничего не могут!»— возмущался он бывшими хозяевами сумки. Совсем злой пришел на работу. Долго ходил по коридору, курил и сердился. А потом решил, что теперь ему уже все равно. Незаметно повыкручивал в коридоре все лампочки и побросал в сумку.



Рабочий день длинный. За этот день в сумку полетело еще много чего: две пачки писчей бумаги, куча шариковых ручек, калькулятор, дырокол. «Не я, так кто-нибудь другой!» — успокаивал себя Малинников. И не знал жалости к казенному имуществу, не был с ним щепетилен и удивлялся только поместительности сумки. В такой сумке даже стол унести можно!

Но на этот раз уносить стол Малинников не стал, а решил унести маленько спиртику из лаборатории. А чтобы мино-

вать вахтера, придумал хитрость: налил спирт в бутылку из-под нарзана и идет, будто купил в буфете минерального напитка и пьет от жары. Так и прошел мимо вахтера. А как вышел со службы, припустил домой через парк, остановился у скамеечки, хотел бутылку в сумку положить. А сумка-то пустая! Мало того — у Малинникова рука с бутылкой куда-то глубже дна ушла! И тут Малинников почувствовал, что бутылку чья-то лапа у него вырывает, и совсем испугался. Испугаться-то испугался, а спиртик-то пожалел: засунул в сумку другую руку и уже двумя руками стал выручать бутылку назад. Да лапа оказалась сильнее: она не только вырвала бутылку, она и самого Малинникова сгребла за шиворот и утащила в сумку — только ноги мелькнули. О том, куда попал Малинников, не только догадываться, но и думать страшно.

А сумка осталась стоять на скамеечке в парке. Ждет, поди, когда пойдет мимо заведующая отделом магазина «Бакалея» Герцеговина Борисовна Флор!

С НОВОЙ СТОРОНЫ

На днях в городской картинной галерее состоялся хороший подарок любителям прекрасного — открытие персональной выставки члена Союза самодеятельных художников Сулеймана Миканорова. Сулейман Миканоров работает в необычном, можно даже сказать — единственном в своем роде жанре. Он широко пользуется работами известных мастеров кисти и краски: Рембрандта, Репина, Сурикова и многих, многих других. Но художник не копирует их картины, а как бы поворачивает их к нам новой, неизвестной доселе стороной. Он словно заходит за картину, подобно тому, как наша космическая станция показала нам невидимую сторону Луны.

Вот несется прямо на нас, рассекая толпу, лошадь, запряженная в сани — это бессмертная «Боярыня Морозова».

Вот убивает своего сына Иван Грозный — и мы ясно видим травму на затылке царевича.

За спиной же «Неизвестной» Крамского мы видим типичных представителей нарождающегося капитализма, открывая тем самым для себя много нового и полезного.

Васнецовские «Три богатыря», вглядываясь в даль, оказывается, не видят, как за их спинами происходят княжеские междуусобицы и закрепощение крестьянства.

Сам художник, скромный, как все подлинные мастера, называет свои работы «выворотками».

Наиболее значительным своим достижением Миканоров считает «выворотку» знаменитой «Джаконды» Леонардо да Винчи. Глядя на ее гладко причесанный затылок, мы все же чувствуем, благодаря слегка оттопыренным ушам, ее бессмертную и таинственную улыбку.

Впрочем, Миканорову удалось раскрыть и причину этой улыбки, но мы не будем ее раскрывать, чтобы не портить зрителю радость от встречи с Прекрасным. Скоро «Джоконда» Миканорова подобно своей луврской сестре, отправится в бронированном сейфе в путешествие по картинным галереям планеты.

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК

Ивана Игошина женщины крепко не любили. Началось это безобразие еще с детско-юношеского возраста. Однажды Иван после школьного вечера с танцами пошел провожать одну девочку, предварительно спросив у старших товарищей, что и как. В ответ на его действия в подъезде девочка жестоко заметила: «Целуйся, да не слюнявь!». Это была первая, но не последняя неудача Ивана. Даже когда он вырос в мужчину, на него женщины не то что не обращали внимания — терпеть не могли одного его присутствия. Игошину было очень больно и обидно. Обидой он ни с кем не делился, копил ее. А еще он копил деньги.

В том же городе, что и Игошин, жил еще один человек. С одной стороны, он был как бы стяжатель и шарлатан, а с другой — представитель народной медицины. Это с какой стороны посмотреть. Игошин прослышал, что этот человек делает приворотное зелье, да такое сильное, что ужас. Зато оно и стоит столько, что ужас. Игошин пришел к этому человеку и попросил. Человек объяснил, как пользоваться зельем, какие антинаучные слова при этом произносить, и дал Игошину пузырек. Игошин сказал, что ему нужен не какой-нибудь там пузырек, а целое ведро. Достал из карманов все деньги,

что скопил за двадцать лет безупречной работы, и ушел с полнешенькии ведром приворотного зелья.

Ведро он вынес за черту города, на берег реки. А зелье взял и вылил прямо в реку, приговаривая при этом, чтобы все женщины в городе начали по нему, Игошину, сохнуть. Потом сполоснул ведерко и пошел домой — ждать, что получится.

Утром на работе Игошину сказали, что приехала комиссия, из министерства, а во главе комиссии стоит такая злая тетка, что не приведи господи, и что Игошину лучше уйти куда-нибудь, чтобы не злить эту тетку своим внешним видом, а то и так неприятностей много. Но эта тетка все же столкнулась с Игошиным в коридоре. И она сразу стала не тетка, а вполне еще нормальная и привлекательная женщина. Она спросила у Игошина, кто он такой, и пригласила его в ресторан. Кое-как завершила свою работу в комиссии и, рыдая, вернулась в министерство, где про нее сразу пошла худая слава. А все мужики на работе сказали, что Игошин дает.

Помаленьку жизнь в городе стала совсем никудышная. И без того высокий процент разводов подскочил в несколько раз. Многие женщины еще и не знали Игошина, но уже чувствовали, что жить с мужьями больше не могут. «Может, ты полюбила другого?»— спрашивал, бывало, муж жену. «Ах, я сама еще не знаю!»— отвечала жена и, в задумчивости собрав вещи мужа, выставляла их за дверь. Правда, были и положительные факты: желая понравиться Игошину, женщины стали лучше одеваться, активнее участвовать в работе и общественной жизни. Улучшился и моральный климат, так как все они хранили Ивану верность.



Поначалу такая жизнь Игошину очень и очень понравилась. Работать он бросил, кормили и одевали его представительницы сферы обслуживания. Мужья принялись писать заявления, чтобы Игошина привлекли за тунеядство, но ни одно за-

явление не ушло дальше первой попавшейся на его пути женщины.

Несколько раз самые смелые мужчины зверски избивали Игошина, но женщины-врачи быстро поднимали его на ноги, а женщины-судьи отправляли обидчиков далеко и надолго.

Мало-помалу силы Игошина начали истощаться, а такой образ жизни — тяготить. Осознал он и всю глубину эгоистичности своего поступка по отношению к мужчинам, которые ему раньше ничего плохого не делали, а наоборот, жалели и обещали найти бабу. Однажды ночью он переоделся в женское платье и вылез через окно, обманув бдительность стоящего у дверей добровольного патруля. Прибежал огородами к давешнему знахарю и узнал, что ведро отворотного зелья стоит в десятки раз дороже, чем приворотного — известно ведь, что связаться куда легче, чем развязаться. Игошин сел на поезд и уехал на Тихий океан.

Сейчас он живет и работает на острове Шикотан и неплохо зарабатывает — копит деньги на отворотное зелье. Несмотря на дефицит мужиков на этом самом острове, женщины не донимают Ивана — потому, наверное, что вода из той реки еще не дошла до океана. А когда дойдет, Иван уже поднакопит денег и вернется в родной город, где из-за него по-прежнему льются слезы, распадаются семьи, а женщины вечерами выходят на берег реки и задумчиво смотрят вдаль.

И все станет, как было.

ДЕФИЦИТ ВТОРОГО СОРТА

На свете жили супруги Звездюк, Анна и Георгий. Они работали обыкновенными школьными учителями — он по физкультуре, она по домоводству. Была у них квартира и садово-огородный участок. Полгектара виктории, песцовая ферма на полтораста голов были хорошим подспорьем в их семейном бюджете. Появилась возможность приобретать всякие разные вещи. Но в том и беда была, что Звездюки просто физически не могли переплачивать за дефицит: от этого у них случались судороги и даже припадки. Это такая специальная болезнь есть, она даже по-латыни как-то там называется. Перебрав мало-помалу все возможности, супруги в конце концов обратились к очень старо-

му, по проверенному способу — решили заложить свои души одной заинтересованной организации. Про души Звездюки твердо знали, что их нет, а раз нет, то и не жалко.

Не замедлил, прихрамывая, явиться и представитель этой организации. Звездюки потребовали, чтобы им доставалось впредь все без очереди и по божеской, то есть государственной цене. Представитель сказал, что все заявки на дефицит уже давным-давно сделаны — лимит. Ни молодости, ни долголетия без дефицита Звездюкам не было нужно. Они настаивали на своем. Наконец представитель припомнил, что завалялось у него одно местечко на дефицит. Правда, второго сорта. Супруги и тому обрадовались — без колебаний оформили соответствующие документы, прижгли ранки одеколоном и стали ждать.

С тех пор что Анна, что Георгий, как ни пойдут в магазины, так там сразу что-нибудь выбросят. Такое им везение вышло, что они всегда во главе очереди стояли. Только и представитель не зря про второй сорт говорил — доставаться-то доставалось все, да только не шибко хорошее. Джинсы шиты гнилыми нитками. Гарнитур «Клеопатра» весь порассохся, как в египетской пустыне. Бриллианты с пузырьками. Японский телевизор все лица делает желтыми. Швейцарские часы — время показывают швейцарское. Меховые изделия облезли. Расцветка на коврах повыцвела. Фарфоровый сервиз на триста персон покрылся трещинками. В двухтомнике женщины-писателя Цветаевой каждая вторая страница пустая. В сервилате попадаются картон, гвозди и прочий мусор.

Купили Звездюки и «Волгу» в экспортном исполнении. Но у нее тормоза тоже оказались того — вытекла вся тормознуха. Водитель БелАЗа, к примеру, и не заметил, что звездюковская машина об него расплющилась.

Вот тут Звездюки и обнаружили, что душа-то еще как есть, когда начали с них требовать представители заинтересованной организации. Но Звездюки сроду ничего своего не отдавали. Очень долго судились, затаскали всех по судам, пока на них не плюнули и не отпустили обратно жить.

...Звездюки теперь живут под другой фамилией и в другом городе. Преподают в университете — он этику,

а она эстетику. Если хотите с ними познакомиться, занимайте любую очередь. Все равно впереди стоит или Звездюк, или Звездючиха. А то и оба вместе, если есть норма в одни руки. В такие минуты супруги очень жалеют, что у них нет десяти детей.

ХОЛОДЕЦ

Однажды Юрий Олегович говорит жене (а ее звать Анжела):

— Анжела, а Анжела! Мне кажется, мы на питание слишком много денег тратим. Сегодня сервилат, завтра карбонат, послезавтра корейка с грудинкой и окороком. А давай-ка мы с тобой покупать субпродукты и варить из них простой русский студень-холодец. Сэкономим деньги и купим в Крыму домик с садиком!

Другая женщина посмотрит — рублем одарит, а вот Анжела глянет — будто последнюю десятку из рук вырвет.

— Чем придумывать, научился бы раньше семью содержать! Сам ты студень-холодец, а не мужик.

Юрий Олегович огорчился, но виду не подал, чтобы жену пуще не сердить. Пошел в магазин и накупил рожек, ножек и прочего, что в холодец годится. Все воскресенье варил, потом понес на балкон студить.

Юрий Олегович ночью проснулся оттого, что за окном происходила гроза. Он глянул в окно и увидел, как молния с неистовой силой ударила прямо в ведро с холодцом. «Пропал мой холодец!» — подумал Юрий Олегович и заплакал тихонько, чтобы жена не услышала. Рано утром вышел на балкон и заглянул в ведро. Молния не повредила холодец, даже наоборот — на вид он был какой-то крепенький, живой. Юрий Олегович хотел попробовать холодец пальцем, но холодец не стал дожидаться, сам потянулся к руке. Юрий Олегович испугался — что это за холодец такой: неизвестно, то ли ты его съешь, то ли он тебя. Скорее закрыл ведро крышкой, а сверху пригнетил камнем, которым капусту давят, — пусть-ка вылезет! И пошел на работу.

Приходит с работы — ему и страшно, и интересно, как там холодец? Взял лыжную палку, столкнул крышку. Глядь, холодца и след простыл, а в ведре лежит не-

понятная штука — рыба не рыба, ракушка не ракушка. Юрий Олегович вспомнил, что где-то эту штуку видел, когда еще книжки читал. Взял он с полки пятьдесят томов энциклопедии и перелистал. Оказалось, эта штука-то — трилобит, древнее животное ископаемое.

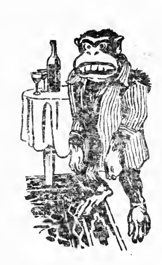
Тут Юрий Олегович и понял, что с холодцом произошло. Совершенно случайно под влиянием грозы и молнии в ведре возникли такие же условия, в которых в старые годы на земле жизнь зарождалась. Припомнилась ему и картинка, как всякие живые существа по ранжиру выходят из моря, развиваясь и усложняясь на ходу. Но, видно, в ведре, в отличие от эволюции, дела шли маленько повеселей: пока Юрий Олегович листал энциклопедию, трилобит превратился в старшего по званию моллюска аммонита, которого опознать удалось очень быстро, потому что он был на букву «а».

Юрий Олегович обрадовался. Он придумал вот что: дождаться, пока холодец разовьется в гигантского ящера диплодока. Потом этого ящера отвести, куда следует, соврать, что сам вырастил, и сдать на мясо. Тогда и домик в Крыму будет. Анжеле он ничего не сказал, решил подарить ей сюрприз. Тайком заглядывал в ведро, наблюдал там последовательное развитие живой материи и торжество дарвинизма. Все шло путем, как полагалось по энциклопедии.

А потом случилось несчастье. Шел Юрий Олегович с работы и повстречал институтского товарища. Товарищ затащил его в одно заведение. Затащил-то товарищ, а вытаскивали два милиционера. А за то, что Юрий Олегович так плохо себя вел, дали ему пятнадцать суток времени. Но не то было обидно, что сообщат на работу, а то, что можно ни за что ни про что потерять гигантского ящера диплодока и в его лице домик в Крыму. Да и страшно было — а вдруг ящер вылезет и напугает Анжелу?

Но никакого ящера в доме не было. Сама Анжела сидела за столом, а рядом с ней находился огромный волосатый детина, одетый в лопнувшую по швам любимую рубашку хозяина.

Детина, увидев Юрия Олеговича, недовольно заворчал без слов и стал показывать мохнатыми лапами на дверь. Юрий Олегович понял, собрал чемоданчик и ушел.



Теперь он живет на частной квартире. Всем бы хозяйка была довольна, если бы не странность жильца: как соберется гроза, так он холодец варит, на улицу его тащит, подсовывает под молнии. Видно, надеется, что еще раз получится живое вещество. Тогда-то он доведет его до ума — получит ящера диплодока. А может, и не ящера. А потерпит недельку-другую, пока не разовьется вещество в первобытную женщину,— верную жену, любящую мать, надежного товарища.

СОЛОВЬИ ПОЮТ, ЗАЛИВАЮТСЯ

Отменно странное происшествие, имевшее быть в уездном городе N, что находится всего в... верстах от Санкт-Петербурга, до сих пор не описано ни в «Северной пчеле», ни в «Московском телеграфе» по причинам известным. Сколь далеко ни заносился бы ум человеческий в потугах постичь миропорядок, ничего доброго оттого не происходит; единственно лишь неприятности.

За давностию лет происшествие, о котором мыслю поведать, в умах и памяти невольных его участников стерлось совершенно. Оно и к лучшему: будет меньше поводов для двусмысленных толкований, к чему приохотились нынче столичные журналы. Предлагаю благосклонному читателю эту странную, но поучительную историю, могущую, несомненно, послужить к исправлению умов и смягчению нравов.

* * *

В некоторый день августа месяца статский советник Платон Герасимович Головачев возвращался из присутствия в собственный дом, причем шел пешком

по своему обыкновению. Августовский вечер, как водится это в тихих городках наподобие нашего, дышал весь прелестию и покоем. Мещанские куры, крашенные для различия ализариновою краскою, снискивали ежедневного пропитания в плодах, именуемых в простонародье конскими яблоками. Подошед к воротам дома своего, статский советник заметил несообразное, а именно: перед воротами стояла телега — прямая безобразная мужицкая телега, которой никак не место у ворот такого значительного по уездным меркам лица, каков был Платон Герасимович. У телеги стоял крестьянин самого подлого вида и приглашающе манил Платона Герасимовича предерзкой своей рукою.

— Тебе, любезный, чего?— спросил Платон Герасимович, желая более накостылять мужику по шее, нежели с ним пререкаться.

— От дядюшки вашего,— отвечал мужик, смущенно царапаясь пальцем в бороде.— Их, стало быть, бог прибрали, а это — велено передать вам прямо в ручки.

При этих словах мужик указал на обитый рогожей ящик.

— Какой дядюшка? У меня нет никакого дядюшки,— возразил Платон Герасимович, изумленный до крайности.— Ты, мужик, говоришь вздор, да ты лжешь! Тебя надобно к квартальному!

— За труды, барин, полагается,— сказал мужик, потирая пальцами, как делает обыкновенно низшее сословие, желая получить несколько денег.

— А вот мы тебя проверим! — сказал Платон Герасимович и протянул к мужику руки, мысля ухватить. Но вместо мужика в руках у него вдруг очутился обитый рогожею ящик, а сам мужик, вскочив в телегу, хлестанул лошадь и покатил по улице.



— Экий,— только и произнес Платон Герасимович. Ящик был тяжеленек. — Верно, свинцовых жеребьев прислал поручик Дудаков для смеху! Вот каналья! Ну, уж я удеру над тобой шутку горшую — отобью

у тебя актерку твою француженку да напишу пашквиль!

Положив наперед так и сделать, Платон Герасимович кликнул Матвейку и велел ему нести ящик в дом.

Отодрали рогожу — под ней, точно, был ящик, но не такой, в каких обыкновенно перевозят винные бутылки либо картины, напротив — и, полноте, ящик ли это был? Никогда до сей поры не видывал Платон Герасимович таких ящиков. Две боковые стенки и крышка его были забраны красным деревом превосходнейшей полировки, одна стенка — дырчатым бристольским картоном, а еще другая — стеклом серо-зеленого цвета. На крышке, кроме того, имелись пуговки с надписями.

— Не пожалел ведь каналья поручик денег!— заметил сам себе Платон Герасимович. Отослав Матвейку готовить ужин, он вооружился очками и принялся осматривать ящик со всех сторон, ища потайного замка.

— Воображает, подлец, что оставил меня в дураках. Прислал, наверное, урода в спирту и смеется сейчас в трактире Анисимова. Смейся, смейся, подлец! Таково ли будешь смеяться, когда афронту получишь от своей француженки! Для чего же, однако, эти надписи?

Надписи и вправду были пречудные. На дощечку прикреплена была черная пластина с серебряными буквицами: «Горизонт». Слово «горизонт» совершенно лишено было твердого знака. Противу каждой пуговки имелись надписи же, выполненные твердой, но безграмотной рукой.

— Частота строк,— читал Платон Герасимович.— —Вкл. Что за вкл? И от чего частота?

Шутки разного рода были в ходу у провинциального общества: в прошлом году, например, на святки, в возок квартирмейстера егерского полка подбросили дохлого борова с намеком, потому что у борова углем были намалеваны доподлинно квартирмейстерские усы; или подговорили мастеровых в день тезоименитства престарелого князя Рюхина кричать ему фетюка. Да мало ли что выдумает праздный ум! Проделка же с ящиком, однако, превосходила все виденное Платоном Герасимовичем.

— А отвезу я этот ящик прямо к предводителю,— мыслил вслух статский советник.— И мы разберемся там, что это за ящик. Зачем это — ящик?! И отчего — «горизонт»?!

Любопытство все же превозмогло необходимую осторожность. Платон Герасимович крутил все рычажки и кнопочки; наконец, под пальцами у него раздался щелк. Внезапный страх охватил Платона Герасимовича: ящик издавал точно такой звук, какой издает потревоженный пчелиный рой. Головачев ужаснулся коварности канальи поручика, собрался бежать из комнат и крикнуть людей, но силы оставили его, и он уселся прямо в панталонах и башмаках противу стекла. Стекло меж тем засветилось голубым светом, и за ним оказались не пчелы, как ожидал того пораженный Платон Герасимович, но человеческие фигурки наподобие тех, какие можно наблюдать во всякий базарный день у раешника.

— Ах, так это раек!— сказал Платон Герасимович и несколько обиделся даже, что там не пчелы.— Однако откуда же свет? Так недолго и до пожару!

Фигурки за стеклом представляли нескольких молодых людей в шитых золотом костюмах и с гитарами на манер цыганов; в отличие же от райка, они перебирались пальцами по струнам и открывали рты. «Дорогонько стоит,— подумал Платон Герасимович.— Нет, это не поручик Дудаков. Это рублей сто, не менее того». Он принялся ждать, когда в игрушке кончится завод, и покрутил еще рычажки. В тот же миг звуки ужасной силы наполнили комнаты; с трудом догадался статский советник, что то была песня. Напев, однако же, был совсем не цыганский. Головачев еще покрутил — певцы запели несколько тише. Из кухни тем часом прибежал Матвейка, так что Платон Герасимович едва успел набросить на ящик рогожку.

— Я чаял, барин, вас тут режут,— простодушно сказал слуга.— Изволите отужинать?

— Вздор какой,— сказал Платон Герасимович.— Кто меня в собственном доме может резать? Ужин подай сюда. Да пособи этот ящик поставить на комод.

Матвейка поспешил исполнить сказанное. На округлом крестьянском лице его выказалось недоумение.

— Он, чать, поет!— сказал слуга, указуя на ящик.

— Вестимо, поет,— ответил Головачев.— Для чего же ему не петь, коли он музыкальный ящик? Подай ужин и ступай.

К ужину тем не менее Платон Герасимович так в этот вечер и не прикоснулся, занятый необыкновенною

игрушкою. Следом за цыганами появилась певица в балахоне и по-русски запела, что она совсем не певица, но Арлекин и должна смешить людей. Арлекина Головачев видывал на гастролях заезжей труппы; певица нимало не напоминала его.

— А она ничего,— сказал Платон Герасимович и сделал пальцами в воздухе этакую фигуру.

С некоторых пор сослуживцы в присутствии стали замечать за Платоном Герасимовичем странности: он начал чураться холостяцких пирушек двадцатого числа и в иные дни; дамы, всегда знавшие его за великого угодника своего пола, дивились его холодности. Весь день в присутствии он сидел как бы на угольях, а окончив работу, мчался домой в коляске, изменив своему обыкновению. Иные полагали, что Платон Герасимович влюбился, другие говорили, что увлекается он немецкой философией и мартинизмом...

Все вечера до глубокой ночи проводил Платон Герасимович в своем кабинете; невоздержанный его Матвейка болтал между своих сотоварищей, что из кабинета барина доносятся песни и музыка, а подчас выстрелы и даже канонада. Страх перед ящиком покинул Платона Герасимовича совершенно. Он научился обращаться с дьявольским подарком так же ловко, как поднаторевший мастеровой со станком своим. Скоро он даже стал разбираться, в какой день недели и в какой час он может увидеть за стеклом шансонеток, когда — нескромный водевиль, когда — послушать ученого человека о таинствах природы. Более же прочих зрелищ полюбилась ему молодецкая игра, заключавшаяся в метании по льду черной коробочки, должно быть, из гуммиластика. Сам конькобежец изрядный, Головачев надивиться не мог той стремительности, с которой играющие носились по льду. Иных игроков он знал уже по имени и громко приветствовал, когда появлялись они за стеклом.

Читатель вправе удивляться, отчего Платон Герасимович не задумывался над природой чудесного ящика? Да почему же не задумывался, очень задумывался. По зрелом же размышлении пришел к мысли, что от дум его все равно ничего не изменится.

Иногда, впрочем, странности его сказывались не-

сколько более явно. Так, например, пришед утром в присутствие, он обратился к окружавшим его чиновникам с вопросом: «А что, господа, довольно мы вчера наказали шведа?». Когда же стали спрашивать его: — Какого шведа? за что? — он сказался больным и ушел домой. Или в другой раз, будучи приглашен на ужин к предводителю, принялся рассказывать он, что в англицкой столице Лондоне из пробирки родилась девочка и чувствует себя отменно. Анекдоту этому изрядно посмеялись, потому что англичан давно все знают за записных чудаков и пьяниц — отчего бы им и взаправду не завести дитя в пробирке? Более же всего он удивил в тот раз общество своим музицированием. И до того Платон Герасимович блистал в салонах, исполняя итальянские романсы; сейчас же, сев за клавикорды, он изобразил необычайно живую пиесу, или, скорее, куплеты, в которых были такие слова:

Соловьи поют, заливаются.
Но не все приметы сбываются.
А твои слова не забудутся,
Сбудутся, сбудутся!

Пиеса эта или куплеты, будучи записаны с его голоса, получили необыкновенную популярность благодаря чрезвычайной простоте слов и напева: редкий бал или попойка в городе обходились без их исполнения. Еще нескольким подобным пиесам обучил он французскую актерку Дебомон, чем и отвратил ее внимание от поручика Дудакова. Поручик запил горькую и был отчислен из полка за бесчинство.

Между тем действие, оказываемое дьявольским ящиком на Головачева, было пагубным. Сравнивая окружающую его жизнь с миром грез, он все более впадал в меланхолию. Когда долго не видел в ящике водевилей, становился мрачен и раздражителен; то терпела поражение его любимая ледовая дружина — в такие дни ему лучше было под руку не попадаться. Когда же в казенных суммах случилась недостача и наряжено было следствие, он проглядел все отчеты и с тоскою в голосе сказал: «Ах, господа, кабы следствие да вели знатоки!», чем весьма обидел нескольких вполне достойных людей.

Как тайна царя Мидаса некогда не давала спать его брадобрею, так и тайна ящика начала тяготить Голова-

чева. Первому открылся он Матвейке и горько о том пожалел: Матвейка совершенно забросил хозяйство и все дни с утра проводил в барском кабинете, а выпивши на праздник с дружками, горланил песню про Арлекина.

Наконец Платон Герасимович положил довериться некоему господину Корефанову, окончившему в свое время курс Петербургского университета и покинувшему столицу после известных неприятных событий. Несколько вечеров провели они в кабинете с ящиком, после чего Корефанов озадачил статского советника следующей сентенцией:

— Представьте себе, любезный Платон Герасимович, что в руки какого-нибудь даяка с острова, скажем, Борнео, попадает издание Британской энциклопедии. Черта ли в ней даяку?

На это замечание Платон Герасимович побагровел и сказал:

— Вы в моем доме, милостивый государь, и сравнивать себя с бесштанным даяком я не позволю!

— Это лишь аллегория,— успокоил его Корефанов.— Но природа хитра, и уж если она допускает такое, то, надо думать, не зря.

— Конечно, не зря,— сказал Головачев.— Как же это зря, когда я, не выходя из дому, могу видеть весь мир божий? И водевили прелестные бывают, или, скажем, хок-кей... Нет, милостивый государь, что не говорите, а это прогресс!

— Выкиньте-ка этот прогресс в полынью,— посоветовал Корефанов.— Далеко ли до беды.

— Какая ж тут беда?— удивился Платон Герасимович.— Да ежели таких ящиков наделать с тыщу и более, чтобы все порядочные люди могли развлекаться, что ж в том дурного? Да я его всем объявлю! Нынче же созову всех на ужин и объявлю!

Корефанов откланялся и пошел прочь.

Головачев, нимало не медля, послал Матвейку с приглашениями во все лучшие дома города. Вы знаете уездную публику нашу: поманите ее бородатой женщиной, русалкой в аквариуме либо заезжим магнетизером — соберутся равно все. Жизнь в провинции неволею делает ротозеем.

Ввечеру гости собрались в нижней зале. Был и уездный предводитель дворянства, и полицмейстер Каран-

дафиди, и престарелый князь Рюхин. Был приглашен и я — юный чиновник, вчерашний недоросль.

Посреди залы стоял комод, на комоде — ящик, покрытый китайским шелком. Рядом с ящиком сиял хозяин дома.

— Вот, господа,— сказал Платон Герасимович, мановением руки совлекая шелковый покров с ящика.— Парижская новинка — механический раек! Сейчас мы увидим веселый водевиль «Небесные ласточки», повторяемый по многочисленным просьбам!

Тотчас же Карандафиди поинтересовался: дозволено ли все это цензурою.

— Дозволено, коли кажут!— поспешил заверить его Платон Герасимович.— А что кордебалет будет несколько... неглиже, так мы с вами на масленой нынче видели и не такое!

Общий возглас изумления раздался, когда стекло озарилось голубым сиянием. За стеклом показалось человеческое лицо, губы на нем шевелились!

— Это чтец-декламатор,— объяснил Платон Герасимович.— Скоро и водевиль начнется. Слушайте, господа!

Читатель, прошло много лет, но минуты этой не забыть мне до гробовой доски. Сейчас, слава богу, времена другие, и можно хотя бы намекнуть на то, что услышали мы в тот вечер. Чтец-декламатор читал послание Александра Сергеевича Пушкина, обращенное... впрочем, порядочный человек понимает, к кому. Тогда эти звучные строки для многих были еще внове...

— А обещали неглиже,— обиделся престарелый князь Рюхин, когда преступная декламация кончилась. На Платона же Герасимовича было страшно смотреть: руки его дрожали, челюсть отвисла. Полицмейстер Карандафиди взял стул и мощными ударами разрушил ящик.

* * *

Платона Герасимовича увезли с курьером в Петербург, и более никто его уже не видел. Верный его личарда Матвейка разделил судьбу своего господина. Песню про соловьев запретили. Остатки ящика облили святой водой и бросили в полынью, как и советовал господин Корефанов. Под старость лет мы сошлись с ним коротко. От него я и узнал все подробности этой исто-

рии. Должен присовокупить, что Корефанов смотрел в ящик с гораздо большею пользою, нежели бедный Платон Герасимович.

— Друг мой,— говаривал он мне подчас.— Иногда мне кажется, что в ящике этом можно было увидеть грядущее...

— Каково же оно, грядущее?— спрашивал я. Вместо ответа он глубоко вздыхал и затягивался трубочкой. И я начинал представлять себе, что в грядущем все будут сидеть вечерами дома, смотреть водевили, не ходить в собрания, не разговаривать вот этак запросто, не видеть природы вокруг себя... Страхами этими я делился с Корефановым. Он только посмеивался.

— Ну, не так уж мрачно,— говорил он.— Не одни же там водевили. Вспомните-ка тот вечер...

И он начинал звонким, совершенно не старческим голосом читать послание Пушкина, и странно звучало оно в устах глубокого старца в черном шлафроке.

Суди сам, читатель, можно ли поверить во всю эту историю. Все свидетели уже покинули земную юдоль. Остались только стихи. Я тоже часто твержу их про себя.

УСТАВ СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ

Лубочный детектив



ГЛАВА 1

Спасу от таракана не было нигде: ни в курной избе, ни в государевых верхних палатах: от веку суждено таракану состоять при русском человеке захребетником.

Иван (Данило) Полянский не из-за таракана был огорчен, но таракан ползанием своим и шевелением усугублял огорчение. Он полз и полз по столу, смело шагал всеми шестью лапами по секретным бумагам, заглядывал в чернильницы, пробовал на зубок сургуч с государевой печатью и, наконец, прибыл на сафьянный переплет Четьи-Минеи.

Иван (Данило) Полянский словно того и ждал: занес над сатанинским насекомым кулак, да смахнул рукавом чернильницу прямо на писаное... Вот горе-то: перебеляй теперь.

Может, не перебелять? Может, и не было вовсе никакой бумаги? Не было, и все тут. Путь за море не близкий, могла и затеряться. Там ведь эти плавают, как их... флибустьеры.

Вредная бумага, огорчительная. Не любят таких здесь.

Иван (Данило) Полянский глянул в слюдяное окошко. И не высоко вроде, а кажется, что Уральский камень видно и далее до Байкала, где гнул и корежил воевода Пашков негнучего протопопишку...

Из аглицкой столицы города Лондона пришло донесение от торгового человека Ивашки Ларионова. Ивашка в письмеце сообщал, что верный и проверенный человек в Лондоне погорел синим пламенем. А ведь десять лет жил, принят был в Думу ихнюю — парламент, все бумаги выправил, словечек аглицких нахватался гораздо. И вот поди ж ты — вылез с предложением сидеть в палате по чинам, как в Думе боярской. То ли умом решился, то ли затосковал по дому. Сразу взяли на примету, а тут еще лорды, обсуждая этот вопрос, по аглицкому обычаю снялись драться, и лорд Шефтсбери, он же сын боярский Чурмантеев, во время драчки стал всех навеличивать русскими непечатными титулами, и

от этого вовсе был узнан бывшим аглицким на Москве посланником... Словом, было от чего огорчаться Ивану (Даниле) Полянскому. Думать он думал, а чернильницу не поднимал: не было никакого сына боярского Чурмантеева. Да и торгового человека Ивашки. Мало ли что. Тем более море. И эти... флибустьеры. Дело такое.

В дверь сунулись: дожидаются.

— Проси, проси соколов моих.

Соколов было целых два: Василий Мымрин и Авдей Петраго-Соловаго. Оба служили в приказе по третьему году, разумели грамоте и тайным приказным премудростям, немало повывели уже воровства и измены. Первый сокол, Василий Мымрин, был высок, тонок, волосы на лице срамно убирал бритвой, а глаза у него от природы были мутного цвета, и были те глаза посажены близенько-близенько, и косили друг на друга зрачками, словно бы говоря: эх, кабы не переносье, слились бы мы, глазыньки мутные, в единый циклопов глаз, как в омировом сочинении про хитромудрого Улисса. Петраго же Соловаго Авдей росту был невеликого, зато широк, и руки до полу, и ладони — что добрые сковороды, а личико его все как есть было покрыто рыжим пухом — волос не волос, шерсть не шерсть, глаз же имел густочерный и пронзительный...

Вот они и пришли, два такие.

— Докладай,— велел Иван (Данило) Полянский.

— Третьего дни,— степенно начал Василий Мымрин,— на свадьбе в Ямской слободе у мещанина Абрама Преполовенского мещанин же Евтифей Бохолдин с чаркою сказал: «Был бы здоров государь царь и великий князь Алексей Михайлович да я, Евтюшка, другой».

— И?— спросил Полянский.

— Отдан за приставы,— ответил Петраго-Соловаго и сам продолжал:— На той же мещанина Абрама Преполовенского свадебке во время рукобитья между стрельцом Андреем Шапошником да пушкарем Федькой Головачевым стрелец государевым именем пригрозил, а пушкарь казал ему кукиш и приговаривал: «Вот де тебе и с государем!».

— Ну и свадьба!— подивился Иван (Данило).— И что же?

— Гости отданы за приставы,— сказал Василий Мымрин.— А когда за приставы брали, смоленский ме-

щанин Ширшов кричал и врал: есть де и на великого государя виселица...

— Нишкни!— испугался Иван (Данило).— Помягше излагай!

У Ивана (Данилы) стало противно внутри сердца.

— А жених с невестой?

— Отданы за приставы,— сказал Авдей.— Невеста же приставам сказала: «Как я не вижу мужа моего перед собою, так бы де и государь не видел света сего...»

— Ох,— сказал Иван (Данило).— Да это не свадьба, а воровской стан прямо... А Ивана Щура там не было, часом?

Соколы охотно засмеялись шутке начальника. Дело в том, что было принято все темные и запутанные дела сваливать на таинственного и большей частью вымышленного «вора, ызменника» Ивана Щура, человека вовсе неуловимого.

Тут в дверь опять сунулись: идет!

Вошел в комнату глава Приказа тайных дел Алексей Михайлович Романов. В свободное от приказных работ время он управлял всея Великия, Малыя и Белыя Русью в качестве государя царя и великого князя.

...Во все времена все власть имущие чего-нибудь да боялись. А особенно те боялись, про которых историки потом писали: Святой, Незлобивый, Благословенный. И наверняка при таком правителе было перебито, перепытано и перепорото больше народу, чем при Грозных, Жестоких, Непреклонных.

Вот и Алексей Михайлович, царь Тишайший, крепко беспокоился за свою жизнь. Привелось ему во младости пережить и Медный бунт, и Соляной бунт, и несколько бунтов безымянных. От бунтов и прочего Алексей Михайлович стал бояться всего. Воров и шишей боялся, бояр и князей боялся, ведунов и ворожей боялся. Не любил ходить по глинистой почве: ну как ведун вынет след и начнет на него ворожить, наводя порчу? Боялся неграмотных — вдруг шарахнет чем по глупости, а пуще грамотных опасался — изведут, ироды. Мир царя был полон злодеев, заговорщиков, ловчих ям и острых углов. Даже любимому кречету Мурату подолгу вглядывался в желтые глаза: не оборотень ли? По причине этого нечеловеческого страха и организовал Алексей Михайлович Приказ тайных дел и возглавил его.

...Государь велел дьяку и подъячим встать с колен

и стал выслушивать отчет. Иван (Данило) Полянский начал с ужасной воровской свадебки в Ямской слободе. Государь охал, озирался, крестился меленько...

— А более ничего нет?

— Да и не знаю, государь, стоит ли сказывать...

— Сказывай, сказывай.

— Князя Одоевского человек Левка Сергеев, коновал, давал твоему дворовому человеку Ромашке Серебрянину сосать хмелевую шишку, завернув в плат...

— Ет-то зачем?

— Чтобы ему запретить от питья... Ведовство ли то?

Алексей Михайлович покривился и сплюнул.

— Эх, Иван, Иван, Данило, то есть. Может, еще хуже всякого злого ведовства и наговора. Ежели он сегодня одному от питья запретит, завтра другому, а там и пойдет — народишко пить перестанет! Кабаки закрывать прикажешь?

— Понял, государь! Польский заговор искать надо!

— Опять ты — дурак. Просто всякими сысками накрепко сыскать, тот плат с хмелем давал пить не для порчи ль? И судить как ведуна, понял?

Государь обвел палату кроткими глазками. Соколы его, Авдей да Василий, преданно таращились.

— Голубяточки, — ласково сказал государь.— Вы мне кого к пасхе представить обещались, изловивши? Запамятовали?

Мымрин и Авдей похолодели. Прошлой зимой, чтобы как-нибудь отбояриться от дел, они сказались изловить пресловутого своего Ивана Щура и на нем спросить все неспрошенные дела. Щура они никакого не ловили и надеялись, что государь даже имечко это забудет. Не забыл.

— По весне, государь,— начал врать Мымрин,— в городе Вышний Волочок нашли мертвый труп. И того Вышнего Волочка люди признали трупец тот за Ивана Щура, своими же шишами до смерти побитого...

— Э-эх,— со стоном сказал государь и больно ткнул Мымрина ладошкой в безволосое лицо.— Вышний Волочок... Брехал бы уж про Енисейский острог — чего там, Алексей Михайлович все стерпит... Да на Москве он, Иван-то Щур! На Москве! Письмецо поносное мне подметнул! Эх, вы-вы! Хлебоясть!

Иван (Данило) Полянский прятал в рукаве залитое

чернилами письмо о лондонском деле, но руки у него от страха задрожали, и свиточек выпорхнул...

— Дай-ка сюда!— велел государь.

— Батюшка, перебелю сначала...— взмолился Полянский.

— Я и так прочту,— сказал Алексей Михайлович.— Да и вы, соколы, почитайте!

И он кинул в подчиненных подметное Ивана Щура письмецо.

— Вора, чаю, сыщете,— продолжал он.— А нет — и головенок своих вам на себе не сыскать...

И вышел вон.

Дьяк и подьячие от страха изучили подметный документ.

Может быть, вы читали подлинный текст письма запорожцев турецкому султану. Так письмо Ивана Щура было ровно в два раза обиднее.

ГЛАВА 2

...Русь, Русь, неохватный простор между Востоком и Западом, простор страны, каждый житель которой полагался и себя полагал заведомо виновным в том, в чем станут виноватить.

Страх начинался в царских верхних палатах — самый сильный страх. Он хлестал, как фонтан, и, спускаясь ниже, все собою обволакивал, и это продолжалось так долго, что начинали бояться и самые храбрые, а потом и храбрых не стало — кто разучился, отвык, а кто от этой поганой волны бежал подалее — на Дон либо в Сибирь. И было спокойно, потому что страх был распределен поровну. Было так же спокойно, как если бы поровну был распределен хлеб...

Соколы Авдей и Василий были мрачны и лаялись промеж собою всю дорогу до дому. Они долго спорили, кто первый придумал все спирать на Ивана Щура; потом вспомнили, что придумал Иван (Данило), а спрос все равно с нас, потому надо ловить Ивана Щура или кого-нибудь вместо, а доказать, что он Щур — дело ката Ефимки.

Подход к сыскиому делу у соколов был разиый.

— Я его ие выходя из горницы словлю,— говорил Мымрин.— Я посижу, помыслю и расчислю, где он есть.

— А я просто по кабакам пройдусь,— говорил Авдей.— Раз мы его поймать не можем — стало, умиой. А раз умиой — стало, ищи его в кабаке. Только деиег надо...

— То-то и оио,— вздохнул Мымрин.— Ефимков бы хорошо... С ефимками Иван Щур сам бы к иам прибежал и себя продал. Только вот скупенек наш Аз Мыслете...

Дорога шла мимо питейиого заведения. Дверь отворилась, и иаружу вышел вовсе голый (благо лето) человек при нательном кресте. Человека ждала жена, или кто там она ему, дала рядно — завернуться и повела по улице...

В заведеииях соколов иаших сильио уважали: летось они отдали за приставы кабацкого голову Ивана Шилова, как тот Иван Шилов, вышибая их из кабака, приговаривал: государево, мол, кабацкое дело. Соколы крикнули «слово и дело» и показали иа бедного Шилова, что говорил он «государево дело — кабацкое», намекая на известную склонность Алексея Михайловича, или Аз Мыслете, как называли его промеж собой для краткости и секретности друзья.

Народишку в кружале было изрядно, да только для них-то всегда находилось местечко. Душно было. От стрелецкого иапитка соколы успокоились, перестали вспоминать пережитое (Мымрин даже забыл, что ему было ткнуто в лицо царскою ладошкой) и, ие торопясь, обстоятельно, стали обсуждать свою беду. Под конец первой четверти оба уразумели, что поймать вора им не под силу, а посему не следует и затеваться ловить, а надо иайти человека, подходящего под щуровские приметы: «ростом иевелик, кренаст, глаза кары, волосы голова руса, борода светло-руса, кругла, невелика; платье на ием: шубенка баранья нагольна, шапка овчинная, выбойчатая, штаиы сукоииые, красные, сапоги телятениые, литовские, прямые, скобы серебряные...»

Серебряиые скобы особенно смущали Петраго-Соловаго.

— Серебряны...— ворчал ои, глядя на худые свои сапожишки.— Я тя, сукина, кота, за эти скобы... В гееие сыщу!

— Тихо, Авдей,— уговаривал его Васька.— На что он нам? Нам бы похоженького найти, и ладушки...

— Не, найду. Подумай, эка птица — Иван Щур...

Какое-то мохнатое рыло, сидевшее рядом, вздрогнуло. Потом, и без того незнакомое, перекосилось до полной неузнаваемости и молвило:

— Ловил один такой... Ловилку оторвали.

Василий собрался было по привычке объявить «слово и дело», Авдей пристроился (по привычке же) своротить болтуну все, что можно, на сторону, но что-то им помешало...

Приказная память соколов не дала охулки и на этот раз: перед ними был опальный Стрелецкого приказа подъячий Никифор Федорович Дурной. Именно ему, Никифору Федоровичу Дурному, три года назад был дан под охрану колодник из Дорогобужа Иван Щур. И велено было Дурному «того колодника держать скована, в чепи, в железах, с великим бережением». Уж как его Дурной берег: надел на плечи ему особые железа, рекомые «стулом». Не побегаешь в таких-то! А все же «тот колодник Ивашка Щур у него февраля 15 числа за три часа до света ушел с чепью и с «стулом». Следом за ним, понятное дело, ушел из подъячих и сам Никифор Дурной, изрядно битый за небрежение батогами. С тех пор числился он в гулящих, жил неведомо чем и неведомо где.

— Ну, здравствуй, Никифор Федорович,— ласково сказал Мымрин.

— Ты не вичь меня, добрый человек: злодей я хуже ката Ефимки. Изверг, строфокамил, камелеопард суть... Э, да ты не Васька ли Мымрин будешь?

— Для кого, может, и Васька, а для тебя — Василий Алмазович!— гордо отвечал Мымрин.

— Плесни стрелецкой, Василий Алмазович!— потрафил мымринской гордости горемыка Никифор.

— Будя с тебя, питух, самим, видишь, мало...

Это Авдей влез. Чего всяких поить!

— Иди, иди себе,— сказал Мымрин.— Мы люди государевы, нам с тобой сидеть невместно...

— Воля ваша, пойду. А ведь я его днями видел...

Авдей поймал Дурного за рубаху и силком усадил на старое место. Дурной увидел четыре горящих глаза и возгордился. Эх, однова живем!

— Сухо в глотке что-то,— пожаловался он с намеком.

Было плеснуто ему, и не раз, и себе было плеснуто многажды, пока не узнали соколы всей правды про Ивана Щура.

— Он, вор, изменник, шиш, прельщал меня: знаюде, где на Москве беглым князем Курбским закопана великая казна... За половину просил отпустить. Я чепь и надпилил ему сдуру, а он меня тою же чепью да по башке... Эх, сгорела жизнь, пропала! Ведите меня на спрос — искупиться желаю, пострадать! Слово и де...

Огромная Авдеева ладонь зажала все мохнатое рыло.

— Успеется на спрос, успеется,— сказал Мымрин.— Ты сказывай, где вора видел днями?

Соколы мигом протрезвели: во-первых, узрели в никифоровом бедстве свое чаямое будущее, во-вторых, запахло деньгами немалыми...

— Вор три года с Москвы не сходит. И не уйдет, покуда клад не возьмет, а невемо что ему мешает... Сила в нем нелюдская: чепи рвет, ровно куделечку. Боюсь я его, шиша... Истинный сатана: я за ем слежу, слежу... Он видит! Все он видит, про все понимает. Я за стрельцы кинусь — он смеяться ну... Хвать-мать — нету его. Третьеводни на улице встрел — говорит, разговор есть... Я бы сам в приказ сдался — Ефимки тоже боюсь...

В умной голове Мымрина созрел план. Все свои интересы наблюдут — Аз Мыслете спокоен, соколы богаты...

— Завтра я его встренуть должен в кружале на Арбате...

...Возвращались поздно. Мымрин поделился хитрым планом с Авдеем, Авдей одобрял.

— И, словом, клад возьмем, а потом самого Ивашку. Государь сказывал: живого или мертвого представить. Можно и мертвого. Мертвый, он про клады не больно-то помнит...

— А Никишка Дурной?— затревожился Петраго-Соловаго.

— А ручки тебе на что господом дадены?— поинтересовался Мымрин.

ГЛАВА 3

Васька Мымрин с молодых ногтей был смышлен гораздо. То одно придумает, а то совсем другое что-нибудь. За смышленость его и переверстали из писарей в подьячие. Выдумал в те поры Васька тайное письмо: вроде и не написано ничего, а кому надо — прочтет. Вообще Васька непозволительно много думал. Ладно, что думал о государевом благе. А если бы о воровстве и смуте помышлял? Страшно представить, что натворил бы тот Васька Мымрин, будь он вором и шишом. Но вором и шишом он не стал, потому что его крепко пороли в детстве. А когда в детстве человека крепко порют, он неволею задумается: ежели меня за такую малость этак взгрели, так что же за воровство и татьбу положено?

На государевой службе он всегда наотлику ходил, как великий мастер распознавать заговоры да наговоры. Честно говоря, кабы не Васька, государь не прожил бы и сутки: или сглазили бы Алексея Михайловича, или зарезали. Жила у князя Куракина на дворе слепая ворожея Фенька, жила и жила. Так Мымрин и тут смекнул, что к чему. «И не Фенька это вовсе,— шептал он Алексею Михайловичу.— Это она для отводу глаз выдумала: Фенька, мол. А на деле не иная кто...» Конец доноса скрывался в царском ушке. Предположительно это была покойная Марина Мнишек. От нее ничего хорошего, кроме порчи и сглазу, ожидать было нельзя. Потому и дворовые люди князя Куракина пытаны были накрепко, и сам князь, и жена его, и волы его, и ослы его... За это дело приметили Ваську. А все оттого, что некогда велел князь Куракин гнать сопливого недоросля Васятку со двора взашей.

Не то Авдей. Авдей был силен. Ой, силен! Более нечего и сказать про Авдея. Так они и работали на пару: ум да сила.

...Ко кружалу подбирались в сумерках, с разных сторон. Стрельцов с собой не брали: каждому всего только по полклада достанется, да Авдей и так с десятью Щурами управится.

Целовальник мигнул: все, мол, в порядке, Никифор ждет Ивашку в особой горенке. Ждать было долго, взяли питья.

— Как войдем с двух сторон,— учил Васька,— так ты их обоих в ручки прими и лбами стукни до смерти!

— Ну,— не поверил Авдей.— Как же он, вор, нам клад объявит, покойный-то?

— То моя забота,— засмеялся Мымрин.— Мы все доподлинно узнаем.

Помолчали. Целовальник взял четверть и трижды звякнул об нее ковшиком. Это означало, что Щур появился.

Петраго-Соловаго рванулся было править государеву службу, но Васька одернул его.

— Сиди!— зашипел он.— Пущай наговорятся!

И снова успокоил напарника напитком. Так они ждали, ждали да и запели свою любимую песню, которую сами про себя же и сложили:

То не два сокола на дубу встрепенулися:
Два добра молодца нзменушку почуяли.
Они по градам, по весям похаживают,
Воровство да смуту выважнвают.
Ой, не скроешься, измеиушка черная,
Ни в чистом поле, ни в густом бору:
Зачнут тебя соколы щипать-когтить,
К Ефимушке-кату повелят иттить.
Возьмет кат Ефимушка ременчат кнут,
Аи, глядишь, вот и вся правда тут!
Станет государь соколов ласкать-целовать,
Ласкать-целовать, приговаривать:
«Уж вы, соколы мои, птицы ясные,
Высоко вы, соколы, летали, много видели.
Велю вам, соколам, по кафтану дать,
По кафтану дать, деньгами одарять».

За пением и не заметили, что целовальник трижды чхнул условным чихом. Целовальник чхал-чхал, подскочил к соколам, и, уже не в силах чхать натурально, сказал словами:

— Чхи! Чхи! Чхи!

Соколы снялись и полетели в тайную горенку: один по лестнице, другой черным ходом.

Авдей ворвался первым, изготовился имать и хватать, но хитрый Щур, видно, бросился ему в ноги и уронил, задув при том свечи, а сам бегал поблизости, увертываясь от Мымрина. Авдей ухватил Щура за ноги, стал вязать их узлом. От боли Щур заорал голосом Василия Мымрина.

Прибегал целовальник, зажигал свечи. На полу ле-

жали трое: Авдей, Васька и покойный — по ножу в груди видно — Никифор Дурной. Об него, мертвенького, запнулся Авдей. С горя Авдей стал тихонько биться головой об косяк. Мымрин же не слишком горевал, даже продолжал мурлыкать песню про соколов. Потом, наказав целовальнику молчать, велел унести труп с глаз долой: на гулящем спросу не производили за недосугом *.

— Ни Ивашки нету,— сказал Авдей,— ни клад не узнали.

Он долго и пристально вглядывался в мелкие глазки неизвестно чему радовавшегося Мымрина, а потом с криком: «У-у-умной!»— кинулся душить сослуживца.

— Господь с тобой, Авдюша,— причитывал Мымрин, бегая кругом стола.— Да когда я тебя, Авдюшу, обманывал? Да я даже рад, что он ушел — меньше шуму (они пошли уже на девятый круг). Славно-то как, Авдюша: Никишку вор сам зарезал, нас облегчил... (тут ворот мымринского кафтана, ухваченный Авдеем, громко затрещал и оторвался). А про казну мы сейчас все узнаем, разговор их у меня весь как на духу имеется...

Авдей осадил.

— Я, Авдюша, все продумал!— гордо сказал Мымрин и полез под кровать. Из-под кровати он достал дурачка ведомого — Фетку Кильдеева.

— Вот!— похвастался дурачком Васька.— Я его о прошлом месяце нашел. Хоть он и вне ума, Фетка, однако, при нем сказанное, накрепко помнит. Я это давно придумал: запоминалу сажать, чтобы, не соображая, запоминал дословно...

— Эка!— только и сказал Авдей.

Между тем Василий Мымрин покормил Фетку пряником из кармана и щелкнул в середину лба. Авдею послышалось, что у дурачка внутри что-то лязгнуло и зашуршало. Перекрестился.—...что же ты храпоидолица не подмести не сготовить вовремя ой да за что а чтобы ставила пироги косые да пироги долгие да с вязигою и с маком а мучица дорога здравствуй батюшка мой афанасий семеныч здорово шпынь давай поесть да выпить и дарьицу присылай здравствуй красавица...

Дальше Фетка понес всякое, отчего Авдей закраснелся.

---

* Т. е. не заводили уголовного дела.

— Ничего не поделаешь,— вздохнул Васька.— Целый день тут сидит, пока все не выговорит, до дела не дойдет.

— ...а и сами вы бесстыжие,— продолжал Фетка ровным голосом,— ой не пущу дверь сломаю кто с тобой там афонька небось хряськ уходи змеища здравствуй митрий ну ее к ляду...

Фетка замолк. Мымрин нашел в кармане еще пряник и угостил запоминалу. До утра пряников извели фунта четыре.

— ...проходи никишка тут и жди здравствуй иван здравствуй никифор а кто это суршит под кроватью не мышь ли нет не мышь это вот кто надергай-ка ваты из одеяла...

И снова Фетка замолк. Пряники он ел, а говорить больше ничего не хотел. Василий тряс Фетку, лил в него напитки, крутил дурачку нос и уши — Фетка молчал. Мымрин стал его осматривать и понял, в чем дело: дошлый в воровских делах Иван Щур нашел дурака и заткнул ему уши ватой.

— Да, много запоминало твое запомнило!— грозно подытожил Авдей и снова с криком: «у-у-умной!» бросился на Ваську. Тот изловчился, прыгнул в дверь, по столам и лавкам выскочил из кружала и побежал по улице в сторону торговых рядов. За ним, выставив руки на сажень вперед, мчался неумолимый Авдей. Длинными руками Авдей успевал подбирать с дороги посторонние предметы: камни, палки, половье — и все метал в напарника. При этом он не забывал кричать велегласно: «У-у-умной!». Москвичи сидели по домам за воротами и не высовывались посмотреть, кто это там такой умный объявился на ночь глядя. Хожалые, чье дело было блюсти порядок в стольном граде, шарахались от бегущих. Брехали собаки. Мымрин был бледен и на бегу сбрасывал с себя мешающее движению. Авдей наливался кровью. Хожалые говорили потом, что было видение: по ночной Москве-де бежал Лжедмитрий Первый, а за ним Лжедмитрий Второй с кирпичом, на ходу оспаривали друг у друга права на российский престол, а потому надо ждать новой смуты и польской интриги. За такие разговоры хожалые насиделись за приставами.

Соколы бежали до окраинных слобод и только уже у самых рогаток опомнились: один от страха, другой от

гнева. Потому отвечать перед государем надо было вместе. И пошли назад.

— Ништо,— успокаивал себя Мымрин. — Все одно словим!

— Головушка моя горькая,— стонал Петраго-Соловаго.— Связался я с тобой, зломыслом...

— Господь с ним, с кладом. Подставного Щура представим...

Мымрин не унывал. Срок, данный государем, был доволен. Много чего можно было придумать. Из Москвы вор не уйдет. А на худой конец объявить большой сыск...

Так и шли, каждый о своем думал.

— Васенька,— спросил Авдей.— А что, на литовской границе заставы крепки ли?

ГЛАВА 4

Потрепало соколам крылышки. Задумались о соколиной своей судьбе. Шли молча, только время от времени Петраго-Соловаго вопрошал: «А может, до крымцев?» или «А может, до запорожцев?» — чем очень раздражал Ваську. Васька же прикидывал то так, то этак, и все выходило драным наверх: и гнев царский, и потаенная казна... То ли правильного Щура ловить, то ли подставного представить, то ли пусть как получится?

Светало. Васька подбирал с улицы все с себя снятое во время погони. Ничего не пропало, благо, разогнали самых отчаянных шишей, бегаючи. «Агарянин»,— ругался Мымрин, подняв кафтан без ворота. «Ладно тебе»,— ворчал Авдей.

Васька полез от голода в карман — может, пряник остался, но пряника не было, наоборот...

— Штой-то?— ужаснулся он вынутому.

То был небольшенький сверточек бумаги.

— Нам пишут...— неопределенно сказал Авдей.

Перекрестив сверточек от порчи и диавола, Васька развернул его и стал читать:

— «Коблам легавым Овдюшке да Васке и с государем ихним Олешкой бляжьим сыном...».

Сильный удар поверг чтеца во прах.

— Не лай государя,— строго сказал Авдей.— Херь, где матерно.

— Ага,— согласился Васька, лаская убитую щеку.— Тогда и читать нечего будет...— Глянь-ко сам!

Соколы стали внимательно изучать охальное щурово писание. Васька иногда не выдерживал и начинал хихикать, но, встретив недоуменный и честный взор Авдея, прекращал.

Конец письма был ужасен. Соколы поняли, что залетели в самые что ни на есть верхи. В последних строках своего письма Иван Щур объявлял себя сыном невинно замученного царевича Димитрия Иоанновича (Григорий Отрепьев тож) и грозил своим неудачливым преследователям всякими телесными мучениями, буде взойдет на трон. А вместо плана, где казна закопана, Щур нарисовал такое, что и сказать страшно: двоеглавый орел, а у того орла... Короче, слово и дело!!!

Соколы кричать почему-то не стали. Кричи не кричи: коли «вор-изменник» послал списочек с письма во дворец, можно прямо отсюда отправляться в гости к кату Ефимке, привязаться к дыбе и начать подтягиваться. А то можно и прямо на Козье болото идти, на плаху, только самому себе голову рубить несподручно: замах не тот...

На улицах стал появляться народ. Кто шел по торговому делу, кто по воинскому, кто по домашнему. Только соколы наши стояли посредь улицы дураки дураками и вертели страшную бумажку.

Бумажку следовало бы сжечь. Но в те поры не такто просто было учинить такое. Кремень и кресало соколы с собой не носили — государь накрепко заказал пить табак. Открытого огня на улицах и в лавках не держали: и так первопрестольная горит каждый год да через год. В чужой дом не зайдешь — как, да кто, да почему, да какая такая грамотка? При себе бумагу держать тоже страшно: мало ли что. Даже кабы и добыли бы огня, нельзя на улице: лето жаркое, и баловников с огнем крепко бьют, иных — насмерть.

Пока в мутных от ужаса глазах Авдея моталась одна как есть мыслишка: «огоньку бы», Василий перебрал в уме все. Поганая грамотка хоть руки и жгла, а все же не горела сама собою. Соколы трепетали. Мальчишки стали казать в них перстами, особо смеясь над

кафтаном без ворота. От этого смеха делалось еще страшнее, и ноги не ходили.

Кто-то тронул Мымрина за плечо. Оба сокола вздрогнули. Но зря: это был всего-навсего безместный поп Моисеище. В одной руке он держал просвирку, другой искал в бороде всякое. Поп Моисеище был здоров.

— А вот кому молебен отслужить?— предложил он нехитрое свое ремесло.— А то закушу,— и угрожающе поднес к устам булочку.

Тут Мымрина осенило свыше. Душа его обратилась ко вседержителю. Тем временем Авдей, забыв о неприятностях, стал ругаться с попом Моисеищем, начали они было засучивать рукава, но Мымрин ухватил напарника и повлек за собой.

— Подожди малость,— отмахивался Авдей.— Я его щас... На раз...

Но Мымрин не пускал. Они снова бежали по улице, а вслед им свистел безместный поп Моисеище — гулена и баловник.

Наконец Авдей понял, что притащили его к маленькой деревянненькой церковке Фрола и Лавра на костях. Народишко собирался к заутрене. Васька держал проклятую грамоту над головой, от страху, видать. Грешным делом подумал Авдей, что хочет его дружок объявить грамотку народу и сделать на Москве сполох, чтобы сбежать под шумок в шиши и воры. Но пред святые иконы Васька успокоился, спрятал бумагу и купил копеечную свечку. «Ой, нет, не замолить нам грехов наших»,— скорбел Авдей. Хладнокровный же Мымрин зажег свою свечку от горящей и вышел с Авдеем в притвор, где и пристроился в уголку жечь грамотку.

— Ет-та вы что, висельники, чините?— бабка какая-то спросила.

Хладнокровный Мымрин выронил и грамотку и свечку, уставился на бабку, но бабка кричала уже совсем другое:

— Пожа-а-а-а-ар!

Соколов вынесло из церкви, даже крылышек не успели опалить. В церкви бросились гасить, было не до поджигателей, а бдительную бабку стоптали в толчее. Забили колокола в Китай-городе, откликнулся Спасский набат... Начинался обычный московский пожар, дело страшное, разорительное, но привычное. Жители окраин и слобод спорили на деньги, что и где сгорит.

Бежали с баграми и ведрами служилые люди и охотники (в том числе и до чужого добра). И уже загудел над столицей неведомо откуда взявшийся ветер, и полетели искры, и пошло, и пошло...

Поджигатели бегали из улицы в улицу, петляли по переулочкам, шарахались от стрельцов и ничегошеньки уже не соображали. Никто их не ловил, а они бегали да бегали, усиливая своей беготней беспорядки.

В конце концов добегались до того, что огонь был уже и спереди, и сзади, и со всех сторон. Авдей запоздало рухнул на колени:

— Покарал господь! Покарал! Живьем в геену ввержены! За умствования, за гордыню! За доносы, за ябеды! За службу льстивую, нерадивую! Господи, помилуй! В монастырь уйду!

Авдей вообще был крепок в вере. Но Василий Мымрин тут, по своему обычаю, не к месту расхохотался.

— Авдей, держись бодрей!— сказал он.— Грамотка-то все ж сгорела! Да теперь государю до Ивашки ли Щура будет? Эвон, ко Кремлю полымя тянет... Хорошо горит! Ты чего, Авдей? Дом твой, что ли, сгорит? Семейка у тебя, что ли? Не допустит господь нашей погибели! Скорее сам Ивашка Щур погорит,— мысль Мымрина полетела дальше.— Обгорелого представим — вот тебе и Щур... Они все чёрненькие...

Авдей собрался было по привычке шарахнуть Ваську по загривку: «У-у-умной!», но тут сообразил, что, может быть, и вправду все обошлось ко благу. А сообразив, схватил любезна друга Васеньку в охапку и пустился в пляс. Васенька длинными полами кафтана взметал искры. Огонь не трогал соколов. Васенька пошел вприсядку. Авдей гулко хлопал громадными ладонями...

...По пожаре сказывали: видели-де верные люди, как у Покрова во пламени, яко в пещи огненной или геене, плясали беси, а тех бесей юродивый Кирилушко опознал; один бес был худ и высок, другой коренаст и рукаст. Стали доподлинно известны даже имена слуг диаволовых: Асмодей и Сатанаил.

ГЛАВА 5

Алексей Михайлович просыпался так: сперва выпрастывал из-под одеяла один глаз, осматривал спальню на предмет злых умышлений и ведовства, а потом уже вылазил весь. Ему ведь тоже нелегко жилось, Алексею-то Михайловичу. То то, то другое. Турки, шведы, ляхи. Казаки, крымцы, хохлы. Ногайцы, башкиры, кизилбаши. А царь один!

Другое еще мучило. Рюрикович-то он был Рюрикович *, спору нет, а государь-царь только во втором колене. Рюрик вон сколько народу наплодил, если каждый за царские бармы хвататься будет... Студно, зябко, ненадежно.

Напрасно Аз Мыслете обращался к расхожей мудрости священного писания: «Несть власти, аще не от бога». Государю нужны были гарантии. Вот ежели бы господь наш в неизреченной милости своей взял Алешу Романова, посадил к себе на просторную ладошку и показал сверху назначаемое... «Видишь, Алеша, во-он там бегают такие бородатенькие? Се русские. Владай ими и помыкай!»

И владать владал, и помыкать помыкал, а покою душе не было. Хорошо бы проснуться однажды, а вместо русских — одни шведы, голландцы или иные немцы. Чистенькие, работящие, душа радуется. Или нет. Чтобы чистенькие и работящие, яко немцы, но чтобы можно их было ставить в батоги, пороть, рвать ноздри, яко же и русским. Цены бы такому народу не было! Однако владай, чем бог послал. Ну, народ! Всякий час норовят в грех ввести. Лекарь Блюментрост долголетия не сулит, Федька с Иваном квелые... Только на младенца Петра и надежды: ручки длинные, цепкие, злые. Погодите ужо, он-то переверстает вас в немцы!

Все чаще о душе думается. Раньше Никона страшился, мнилось: Никон каждый день да через день со господом и угодниками общается. Потом понял — слаб Никон ко греху, тлен, прах, персть земная... Все кругом перед господом загадились выше ушей... Даже любимый юродивый Кирилушко свят-свят, а и то, сказывали, любит жуколиц мучить — рвать им усы и ноги.

Любимая тайная игрушка у царя была — ад. Специ-

* По официальной версии.

ально изготовили российские изографы и механики. И ярко, и шевелится. Вот Велиал тычет вилами турецкого Магмета. Вот тянут за ноги, мысля разорвать пополам, Иеремию Вишневецкого. Вот змий терзает крымского хана за неподобное место. Вот прихлебывает из кружки кипящую смолу бывший посольский подьячий Гришка Котошихин, вор и переметчик. А вот и геена огненная: скалится себе. Во чрево геене можно засунуть писаную на вощеной бумаге парсуну очередного врага, взять лучиночку, запалить и радоваться, как его там, в геене, корежить будет.

Ясно, что грех, да уж больно утешно!

Только в это утро государь проснулся от пожарного набата. А так как всю систему пожарной сигнализации колоколами он разработал сам, то сразу сообразил, что пожар немалый...

«...Буде загорится в Кремле городе, в котором месте нибудь, и в тою пору бить во все три набата в оба края поскору. А буде загорится в Китае, в котором месте нибудь, и в тою пору бить (оба края полехче) один край скоро же. А буде загорится в Белом городе от Тверских ворот по правой стороне где-нибудь до Москвы реки, и в тою пору бить в Спасской же набат в оба ж края потише...»

Пожарный стрелецкий наряд приехал на головешки, пожар ушел дальше, бросились вдогон.

...Тем часом суконцы наши соколы таились в старой полуразваленной клети на задворках приказного двора. Столица отпылала. В клети горел светец. По черным стенкам метались тени, напоминая опять-таки бесов.

Авдей притащил с пожарища целую кучу людских мослов и черепов, тряпок горелых и прочего. Из всего этого хозяйства он пытался составить убедительные останки Ивана Щура, причем особенно надеялся на подошвы сапог с серебряными подковками. Подковки были куплены за свои деньги.

Василий же Мымрин, высунув от усердья язык, писал отчет о проделанной работе. Решено было обставить все так, будто бы Иван Щур по пьяному делу угорел дымом и погиб. Наконец Мымрин с удовольствием вывел на листе: «Что, по твоему, великого государя, указу задано нам, холопам твоим, учинить, и то, государь, учинено ж», посыпал песком и стряхнул.

— Ну как?— спросил Авдей про свое рукоделье.

Васька кивнул одобрительно. Авдей сгреб поддельного Ивана в мешок. Мымрин велел мазать рожу сажей, и сам того же сделать не оставил — де мы, соколы, тоже пострадали от огня, и кафтаны попалили лучинкою, чтобы совсем похоже стало. Теперь можно было идти в приказ с относительно честными глазами.

Иван (Данило) Полянский, дьяк «в государевом имени», сидел за столом и горевал снова над некой заморской бумагой. Писали из французской страны, из стольного града Парижа, из самих луврских палат. Полюбовница тамошнего короля Людовикуса Четыренадесятого, мадам де Монпасье, она же гулящая девка Лушка Щенятева, из фавора у Людовикуса вышла, потому как вздумала поправить свои денежные дела, выходя по старой привычке с бирюзовым колечком во рту и с рогожкою на Нельский мост, а ныне та мадам де Лушка отправлена Людовикусом в монастырь навечно...

Не успел дьяк оправдаться за лондонскую великую конфузию, как новая напасть...

Влетели соколы — запыхавшиеся, закопченные.

— Ну?— спросил Иван (Данило).

— Вот!— сказал Авдей и тряхнул мешком. Загремело.

— Пошто маленький?— удивился дьяк.

— Обгорел малость, от огня и дыма скукожился!— радостно сказал Мымрин.— Окажи!

Авдей высыпал свое художество на пол, прямо на персидский ковер. Дьяк заплевался, замахал руками и велел спрятать Ивана Щура обратно в мешок. Авдей тыкал ему в нос обгорелой подошвой с серебряными подковками.

— Верю, верю,— сказал дьяк.— Молодцы.

— Мы его живым хотели,— сказал Мымрин.— Да стена рухнула.

Полянский был умен. Дуракам в Тайных дел приказе нечего тайно делать. Он понимал, что это никакой не Иван Щур, а так, чужие кости. Но делал вид, что верит, и соколы делали вид, что они и вправду соколы, в огне не горят и в воде не тонут...

— Что, Ивашка, набегался?— глумливо обратился к мешку Мымрин.— Будешь еще государю охальные письма подметывать?

— Да,— согласился дьяк.— Теперь много не напи-

шет. Надо государю доложить да похоронить бесчестно...

Алексей Михайлович, вопреки Блюментросту, долго жить будет: легок на помине. Дьяк и подъячие рухнули на колени.

— Здравствуй на многие лета, государь-царь и великий князь!— сказал дьяк.

— Здравствуй, Иванушко (Данилушко),— очень ласково сказал Аз Мыслете.— И вы здравствуйте, соколы мои зоркие, Васенька и Авдейка... Что это вы копченые такие? Не Ваньку ли Щура ловили?

— Точно так, государь: изловили и представили!— ликовал дьяк. Он сделал Авдею знак, и тот снова высыпал Ивана Щура пред царские очи.

— А что же, вживе не смогли?— продолжал промеж тем царь.

— Стена рухнула,— сказал Васька.— Только по подковкам и опознали: они у вора серебряные...

— Серебряные...— повторил государь-царь.— Золотые вы мои, адамантовые! Государству радетели! Упасли, уберегли! А как же он обгорелою ручкой своей еще письмецо мне написал? А?

Соколы привычно затрепетали. Дьявольские бумажки, видно, и в огне не горят!

— Сами в Сибирь пойдете или как?— поинтересовался царь.

— Последнее письмо-то! Истинный бог!— закричал дьяк, пытаясь спасти положение.— Больше не напишет!

Государь вроде успокоился.

— А и вправду,— сказал он.— Не напишет ведь...

Соколы оклемались от страха.

— Что, Ивашка, отписал свое?— снова начал шутить над костями Мымрин.

Государь шутку любил. Посмеялся даже маленько.

— Отписал,— сказал государь.— Будя...

Соколы приготовились к наградам.

Тем часом улыбка с царского личика пропала, как не была.

— Прислал мне вор в письме копеечку денег и приписывал при этом: на погорелое-де,— прошипел Алексей Михайлович.— Что же он, про пожар загодя узнал, что ли? Государю лгать! Помазаннику! А воры тем часом у меня за спиной с кистенями стоят! Вон, третьеводни портновский мастер Ивашка Степанов опашень мой примерял! Скоро порты последние стянут! Собирайся-

ко, Иван (Данило), в монастырь бессрочно! А этих плетить и в Сибирь на солеварни!

Дьяк Полянский так поглядел на соколов, что им враз стало ясно: ни до какой Сибири они и не дойдут даже... Государь топал толстыми от водянки ногами, плевался, топтал ложные кости, бил соколов пресловутыми подошвами по щекам. От ударов царя Тишайшего Мымрин пришел в ум и сразу составил план. Пав на ковер, он стал кататься и валяться в ногах Алексея Михайловича.

— Не вели казнить, государь, вели говорить! Отец родной! О твоем государевом достатке пеклись! Казне твоей прибытки наметили!

Услыхав про казну, государь перестал драться и прислушался.

— Вор на Москве ищет клад князя Курбского, утеклеца за границу!— торопился спастись Мымрин.— Вору место клада доподлинно ясно, мы его выслеживали, до срока имать не хотели, думали разом с кладом на твои, государь, именины представить.

— Стой,— сказал государь.— А почто не выдали его в Стрелецкий приказ? Ефимка спросил бы на нем про клад...

— Что ты, государь! А ну как ворина уперся бы и не сказал?

Алексей Михайлович хмыкнул.

— Складно. А велик ли клад?

Мымрин напрягся и подсчитал.

— Куда как велик, государь! Вторую Москву можно построить! Даже две!

Такие богатства понравились Романову. Они были кстати.

— Ну что ж,— сказал он.— Это надо, это хорошо...— потом снова налился кровью и спросил криком:— А почто костей натаскали? Опять лгать?

— Хотели мы, государь, тебе этот сделать... как его...

— Сюрприз,— подсказал Полянский, знавший иностранное слово.

— Виноваты, государь!— завыл Авдей.— Не губи!

Царь столь же быстро остыл.

— Срамцы,— сказал он.— Хоть бы кости одинакие подобрали. Словом, так: Ванька (Данилка), головой ответишь! Месяц вам сроку даю! Чтобы и клад и вора представили!

— Да мы бы и нынче представили, кабы не пожар!

— Да,— вспомнил царь.— Узнать, заодно, отчего горело.

— Будет учинено,— обещал дьяк.

— Отправить человека с посольством Мясева в Стекольну...

— Будет учинено.

— Отписать на государево имя вотчину Петра Жадовского, что в Дмитровском уезде, буде упрется — принудить...

— Будет учинено.

— Подьячих Ваську Мымрина да Авдейку Петраго-Соловаго за ложный обман и нерадивость плетить, на розыск же вора и клада выдать им, Ваське и Авдейке, полста рублей денег.

— И то будет учинено, государь,— злорадно и в то же время с завистью сказал дьяк, и соколы поняли: плетить будут как надо!

Все распоряжения по Приказу тайных дел отдавались устно.

ГЛАВА 6

Город Москва — большой город, от этого в нем много народу. Так этого народу много, что немудрено затеряться человечишке и пропасть на вечные века. И никто не спросит, кто таков был — Фома либо Ерема.

Но вот появились на Москве двое, что смутили покой и торговых людей, и лиходеев.

Приехали, сказывают, с Тобола-реки, продали, сказывают, беззаконно сто возов мягкой рухляди, денег имеют бессчетно и за все платят любекскими ефимками без государевой печати, и таможенные головы их не трогают, потому подкуплены, и те двое собираются купить каменный дом и лавку и учать торговлю скобяным товаром, а пока ходят и прицениваются, а у каждого пудовая зепь ефимков под кафтаном...

Московские шиши-де пробовали всяко до тех ефимков добраться, да без пользы. Те же торговые люди, братья Хитровановы, Нил и Мина, ходят в больших бородах, на глазах же имеют заморские зеленые стек-

ла, чтобы смотреть хозяйским глазом, нельзя ли произвести какого-нибудь обману, часто сидят в кружалах и со срамными девками веселятся гораздо. Неделя как появились, а уж прогремели на весь город превеликим богатством и кабацкими бесчинствами, а, будучи за бесчинства уводимы стрельцами, всякий раз возвращались для себя безвредно и бесчинствовали пуще. Умные знающие люди сказывали, что это не купцы, а ведомые воры Ивашка и Федька, братья Щур; кто говорил, что не братья Щур, но беси-поджигатели, поскольку объявились сразу после пожара, и деньги их сатанинские, и что беси те хотят за серебрецо свое сатанинское скупить всех московских жителей души, вкупе с государем и патриархом, да и запалить столицу снова, на этот раз целиком и до основания. Гулящая Дарьица-Егоза клялась и божилась, что Мина Хитрованов весь покрыт шерстью и иногда пахнет серой, а у Нила Хитрованова на груди висит знак турецкого Магмета — месячный серп и звезда. Тогда же стали поговаривать, что в вышнем дому народился Антихрист, а как народился, сразу прочитал «Верую» навыворот, и когда войдет Антихрист в силу, всех обратит в свою заморскую ересь, сиречь лютеранство, зачнет строить на гнилой болотине град, будет ту болотину мостить и гатить мужиками и заместо свай забивать мужиков же. А купцы Хитровановы того Антихриста как бы предтечи, вроде Крестителя, только наоборот.

Главным доказательством нелюдской сущности братьев являлось количество поглощаемых ими напитков, которые, как видно, лились через их глотки да прямо в геену, где огнь не угасает.

...Но сегодня стрелецкий напиток, видно, достал-таки братьев богатеньких: Мина то и дело долбил стол носом, а Нил кричал петухом и грозил устроить новое Смутное время.

— И смущу!— кричал он.— И смущу! И Яна-Казимира посажу!

Когда Нил кричал такие прелестные речи, гунка и теребень кабацкая затыкала уши, чтобы не попасть на спрос. Одна только Дарьица-Егоза не теряла присутствия духа и знай подливала ухажерам своим. Гунка и теребень кабацкая видела, как Дарьица доставала изза пазухи склянку и сыпала в вино муку не муку, только вино шипело и булькало, но братьям и это было нипо-

чем: поливали пуще прежнего, кидали деньги песельникам и гудошникам.

Наконец торговые люди утомились пить и гулять и собрались на покой. Дарьица увела их в дальние комнаты и уложила, как дерюжку, в уголок.

В питейное же помещение тем временем проскользнул невысокий молодец в красных сапожках, ладный лицом и статью.

— Все,— сказала ему Дарьица.— Уже можно.

Молодец ухмыльнулся и последовал за ней.

— Как войдешь — в углу,— учила Дарьица.— Пьяне вина оба.

Молодец прошел в комнату и задул светец. Потом вытащил гирьку на цепочке и примерился...

...Очнулся молодец, спутанный ремнями по рукам и ногам. Братья Хитровановы тем временем отрывали свои жаркие бороды, снимали с глаз зеленые стекла, вытаскивали подушки, что носили для толщины, а еще вынимали из-за кафтанов большие кожаные фляги, в кои сливали якобы выпитое.

Молодец скрипнул зубами.

— Поскрипи, поскрипи,— сказал высокий купец.— Так ли еще на дыбе косточки скрипеть будут?

Молодец стал лаять своих пленителей. Тогда маленький, Мина Хитрованов, попинал его малость и заставил замолчать.

— Что, Ивашка, охота на дыбу?

Достигли-таки своего соколы-то наши! Выискали они след Ивана Щура и прикинулись богатыми да беспечными купчишками. Правда, на это ушли почти все деньги, выданные государем. Зато битые спины уже начали подживать.

— Ваша взяла,— сказал наконец Иван.

— Знамо дело, не твоя,— ответил Мымрин.— Мы — люди государевы, а ты кто? Шиш, висельник...

— Отпустите — заплачу, сколько скажете. Жалованье-то, поди, не ахти какое?

— Эх, Иван, это ты Никишке Дурному, покойнику, рассказывай про клады, а нам нечего. Вот сдадим тебя сейчас кату Ефимке — и прости-прощай. Многонько ты нам кровушки попортил, ворина.

Иван Щур тоже припомнил кое-что и засмеялся.

— Клад-то лежит,— сказал он.— Только вам его без меня не взять...

— Эва,— сказал Мымрин. — А что же ты сам его не взял? Ведь сколько на Москве ошиваешься?

— Клад заговоренный...

— Разговорим,— пообещал Василий.— И тебя, вора, разговорим. Мы ведь тебя Ефимке сдавать не будем, мы хуже всякого Ефимки спросим, правда, Авдей?

— Ясно,— сказал Авдей.— Что Ефимка? Кат и кат. А вот мы...

Авдей оглядел комнату: что бы показать вору? Потом взял и руками своими огромными разломал стол на куски. Словно пряник.

— Тебе бы не в ярыгах ходить,— сказал Щур с уважением.— Тебе бы на дорожку прямоезжую, купца проверять...

— Слушай, вор,— сказал Мымрин.— Нынче же при нас клад откроешь — и ступай на все четыре стороны. А нет — по жилочкам растаскаем!

— Растаскаем, растаскаем,— подтвердил Авдей.

— Не ухватишь клад-то,— сказал Щур с огорчением.— Больно давно зарыт. Ране там пустырь был, а теперь...

— Что теперь?

— Вот придем, увидите, что. Одному никак не справиться. Несподручно и зело противно...

Василий Мымрин взял нож и перерезал вору ремни на ногах. Черным ходом все вышли на улицу. Какое уже утро соколам приходилось встречать при исполнении служебных обязанностей!

Но сегодня все должно было кончиться. «Вор-ызменник», писатель подметных писем шел грустный, все глядел по сторонам — не подойдет ли какая помощь. Помощи не было.

— Вон, усадьбу видите? — спросил Иван Щур и показал головой — где.

Тут за спиной послышалось:

— Здравствуй, Васенька!

Мымрин обернулся. Сзади подходили трое из Посольского приказа во главе с Мясевым-младшим.

— И ты, Авдюша, здорово!— сказали из-за угла. Оттуда вышли еще четверо, молодые да ражие.

Дело в том, что между Приказом тайных дел и Посольским приказом имелась давняя вражда. Когда какое-нибудь посольство отправлялось в Туретчину, или в Свейскую землю, или к иным немцам, к нему всегда

приставлялся тайноделоприказчик для присмотру. Приставленный должен был следить, чтобы послы не творили тайных сговоров, не бесчестили государя, не тратили зря денег и не шлялись по заморским кабакам, не прельщались ересью, не перенимали тамошних повадок и не пытались, не дай бог, бежать. Главы приказов, дьяки, тоже были между собой на ножах, что и говорить про молодежь. Вот и сейчас молодые посольские люди шли из кружала и очень им было охота переведаться с вековечными ворогами.

— Давно тебя, Вася, не видно,— говорил меж тем Мясев-младший.— И где это, думаю, Вася, скучно без него...

Остальные окружали. Авдей держал пленника за ремешок и беспомощно озирался.

— Отыди,— сказал Мымрин.— По государеву делу идем.

— Знаем ваши дела,— сказал Мясев.— И Авдей, чугунная головушка, тут? Мало прошлый год в Яузе поплавал? Можем еще искупать. А то, поди, с того разу и не мылся?

Посольские подьячие очень обидно засмеялись. Но Мымрин хотел убежать рукобитья.

— На, опохмелись сходи,— ласково сказал он и протянул Мясеву несколько денег. Мясев озлился и смахнул деньги в пыль.

— Я не подзаборник какой — деньги брать,— сказал он.— Это вы с Авдюшкой на соборном крыльце найдены, подкидыши без роду, без племени, вам собаки головы нанюхали...

Иван Щур заметно веселился.

— Кошка вас выкормила,— продолжал глумиться Мясев.— А от морозу в теплом назьме спасались...

Авдей не сдюжил. Отпустил ремешок, сжал кулачищи, возопил: «Расточу, агаряны!» и кинулся на оскорбителя. Иван же Щур боднул Ваську в живот, поверг еще кого-то, юркнул за угол и был таков.

На несчастье посольских, рядом не случилось реки Яузы, куда можно было бы спустить Авдея. Он разом зашиб Мясева, потом еще двоих. Васька с земли ухватил кого-то за ноги и уронил. Кто-то вывернул жердь из плетня. Авдей жердь отобрал и жердью той побил всех. Двое посольских подхватили Мясева и побежали, остальные за ними, давясь соромом.

ваго.— До пасхи теперь не наладятся, а пасха нынче поздняя...

— Ну, я им дал, агарянам!— сказал Петраго-Соловаго.

Он никак не мог успокоиться, колотил кулаком в заборы, круша их, и ликовал.

— Дурак,— заплакал Васька.— Вор-то ушел!

Авдей осел под забор. Москва просыпалась. Как-никак, третий Рим. И много от этого в нем народу — поди сыщи...

ГЛАВА 7

Авдей Петраго-Соловаго тоже был когда-то ребеночком. У него тоже была нянюшка-мамушка, кормилица, которая в Авдее не чаяла души. Звали ее Вахрамевна, была она стара и хорошо помнила ляшское лихо и трех самозванцев. Жила она в Китай-городе в небольшенькой избенке. Промышляла лечением и заговариванием зубов. Травы собирала. Давно бы попасть старухе на спрос за свое ремесло, кабы не было в приказе тайных дел заступника Авдюши. За это Вахрамевна любила его еще пуще. Соколы иногда залетали к ней за приворотным зельем или алтыном на похмелье.

...Ныне соколы пластом лежали на рогожке и болели. Вчера с горя они прогуляли остатки казенных денег и совсем распростились со свободой. Авдей плакал и рассказывал кормилице государственные тайны. Мымрин хотел остановить его, но не мог: от хмеля рот не открывался. Мымрин пихал в Авдея кулачком. Авдей не слышал и продолжал разглашать. Вахрамевна внимала, воздыхала, всхлипывала и кивала головой. В особо страшных местах крестилась двумя персты.

Проснулись к вечеру следующего дня. Василий открыл глаз и забоялся. Жить вообще страшно, а с похмелья тем более. Авдей уже сидел за столом, потихоньку лечился. Вахрамевна жалела питомца, гладила по рыжей голове.

Мымрин вспомнил, что упустили Щура, и застонал. Авдей поглядел на него, как на чужого. Вахрамевна приподняла голову Мымрина и налила туда браги. Стало полегче. Вахрамевна летала по избе, будто молоденькая, гремела печной заслонкой и чугунками.

— Пропали головушки наши,— мрачно вещал временами Авдей. Мымрин молчал. Боялся, что Авдей закричит: «У-у-умной!» и полезет бить.

— Ништо,— утешила вдруг Вахрамевна.— Да не преклонишься игемонам и проконсулам...

Она утешала соколов, равняла с кедрами ливанскими, Авдея отождествляла с Самсоном, Василия же — с царем Соломоном, но легче от этого не становилось.

— Баньку я натопила,— сказала Вахрамевна.— Попарьте косточки, а я тем временем схожу куда-то.

— А ты, Вахрамевна, размыкаешь наше горюшко?— с детской надеждой спросил Авдей.

Вахрамевна пообещала размыкать и ушла. Соколы горестно пошли в баню, жестоко посекли друг друга вениками, а когда вернулись, в избе под иконами сидел благостного вида старец в белой рубахе, в портах и босиком. Старец благословил соколов двоеперстием.

— Кланяйтесь старцу, бесстыжие!— указала откуда-то Вахрамевна. Соколы пали на пол и поползли на старца. Старец подтянул босые ноги на лавку. Потом велел встать.

— Горе ваше мне ведомо,— сказал он тоненько.— Се враг вас мутит. Се аггелы его, Асмодей и Сатанаил, лютуют.

— Как же взять его, вражину, отче?

— А руками,— посоветовал старец.— Вор сей, муж кровей и изверг естества, прельщал вас, мамонил кладами, а о кладе духовном забыть понуждал, от древлей веры отвращал, ввергал в никонову ересь, запрещал стезю во Горний Ерусалим...

Василий сообразил, что перед ним сам еретик ведомый, что ему, еретику, надо бы на дыбу, да что поделать — сейчас, кажется, от бесов бы помощь принял.

Старец взял со стола миску и посыпал им головы сарачинским пшеном. Петраго-Соловаго заерзал, Мымрин ткнул его в бок. Старец меж тем достал из-за икон толстую книгу, долго листал, а потом велел соколам петь за ним вслед. Соколы засмущались петь еретические кафизмы, но Вахрамевна цыкнула на них, и они нишкнули.

Так вчетвером они спели такой вот псалом:

Деревян гроб сосновен
Ради меня строен.

Буду в нем лежати,
Трубна гласа ждати.

Вериги железны
Ко спасенью полезны.
Буду их носити,
Исуса хвалити.

Исус вседержитель
Первый в раю житель:
Праведным мирволит,
Диавола гонит.

Диавол искуситель
Душе погубитель,
Учит нас блудити,
Христа не любити.

Никон патриарх
Суть ересиарх:
Христиан смущает,
Души уловляет.

И еще много чего пели соколы вслед за старцем. Потом все утомились и охрипли. Старец встал и начал кружиться по горнице, взметая воздух белыми портами и приговаривая непонятные слова. Соколы стояли на коленях и едва успевали поворачивать головы за шустрым старцем. Вахрамевна сидела в уголку и любовалась праведником, подперев щеку пальчиком.

— Ух, ух,— приговаривал старец. Потом вскочил на стол и ловко запрыгал между посудинами. Со стола поманил соколов корявым перстом к себе.

Воробьи пророки
Шли по дороге.
Нашли они книгу.
Что писано тамо?
Ух, ух.
Накати, дух!

Соколы тоже впали в просветление, ухали вслед за старцем. И хорошо им стало и легко.

— За тремя лесами, за пятью волоками, за семью мстёрами, девятью озерами, за сельцом, за дворцом, меж двумя ложками источник дивен. Ступайте, омойтесь. Подойдет муж телом дороден на сатанинскую потеху. Бейте того мужа даже до смерти, кровь отворите, где антихристова кровь прольется, вырастет богун трава, на богун-траве — жар-цвет... Сейчас прямо и ступайте.

— Это куда, отче?— спросил Мымрин.— На кой нам жар-цвет?

— Жар-цвет клад укажет, лихо избудет. А идти вам за город, в Калинкин ложок, на Телятину речку. Узрите заводь, схоронитесь и терпите до утра, утром он и объявится.

Старец полез за образа, достал оттуда пистолю и протянул Мымрину. Мымрин испугался оружия и замотал головой.

— Вооружись на антихриста,— уговаривал старец.— А пульку я святить буду...

Старец долго-долго святил пулю, прыскал на нее слюнями и вырезал крестики. Потом подал пистолю Авдею, покружился по комнате и сгинул.

— Куда он, Вахрамевна?— удивился Авдей.

— Известно куда, голубь: во Горний Ерусалим.

Мымрин старцу не верил. Что за старец такой? Зачем это идти неведомо куда, стрелять в кого-то? Это баловство.

— Баловство это, Авдей,— сказал он напарнику.

— Молчай, умной!— озлился Петраго-Соловаго.— Может, ты что надумаешь? Головы надо спасать. И души,— добавил он, подумав.— Жар-цвет нам и клад откроет, и вора объявит.

— Нет никакого жар-цвета,— застонал Мымрин.

— Окстись, поганец!— зашумела и Вахрамевна.— Старцу верить надо! Он чудесен, старец тот! Он стены узилища своего разомкнул молитвой и ушел беззаказно! Старец древлей верой силен. Бога на меня еще молить будете, что привела к вам Мелентия-праведника...

— Господи боже,— снова запричитал Мымрин.— Это же ведомый еретический старец, что у патриарха полбороды вырвал! Совсем пропали наши головы!

И заплакал горько.

ГЛАВА 8

...Туман уже начало помаленьку растаскивать ветром: появлялись из белой мути кусты, деревья, малая речушка. День собирался быть ясным. Вдоль речки двигались конные, один за другим. Все были одеты в одинаковые серого с зеленым цветом кафтаны, на

правой руке у каждого сидела птица и напрасно таращила на подмосковную природу зоркие свои глаза: головка у каждой была в особом клобучке, ничегошеньки птица не видела.

Годы царские были уже не те: раньше, бывало, взвалив государственные дела на Леонтия Плещеева, покойника, можно было день-деньской заниматься любимым делом, соколиной охотой, а в ненастье писать «Книгу, глаголемую Урядник новое уложение и устроения чину сокольничья пути». Теперь надошел возраст, водянка, страхи за каждым углом. Только в такие вот ясные дни и позволял себе Алексей Михайлович выезды в Семеновское либо Коломенское.

Сегодня хотел опробовать новенького, но крепко уже любимого Мурата: по всем статьям птица была выдающейся. Мурата вез новенький же сокольник Афонька Кельин и очень от этого волновался. Тем более, что намедни Мурат был скучен и плохо ел. Афонька молился на птицу с басурманским именем, как на Иверскую или Казанскую богоматерь. Рука сокольника затекла, а он все равно не смел потревожить Мурата шевелением. Драгоценная птица переступала лапками в кожаных портяночках, и Афонька боялся, что Мурат запутает должик — золотой шнурок, каким привязан к рукавице, и, вместо того, чтобы стрелой взмыть в небо, позорно повиснет на шнурке, напоминая казненного шиша.

Хлопотна и ответственна была сокольничья должность. По «Уряднику» сокольник должен был «тешить государя до кончины живота своего». За иную птицу можно было не сносить головы. Любая государева потеха была делом государственным. Соколы и кречеты были капризны, в неволе могли зачахнуть, а сокольников можно набрать новых сколько угодно.

Афонька вспоминал все приметы по пути. Когда выходил на улицу, навстречу, из кружала, должно быть, шел безместный поп Моисеище. Примета нехорошая, надо было бы дать Моисеищу по сусалам, чтобы не шлялся с ранья где попало, но уж больно был силен безместный поп. Вчера Афонька долго толковал с Муратом, как с разумным: наставлял, как и что завтра делать. Мурат кивал страшным клювом, согласно моргал, а под конец начал даже зевать от скуки, и сокольник обрадовался: понял! А третьеводни еще всполошили птицу набатом...

Алексей Михайлович вылез из кареты и перешел в специальное кресло. Подсокольничий Петр Хомяков ждал указаний. Царь малость поигрался с кречетом, потом вернул его Афоньке и стал глядеть в небо, не летит ли достойная птица, потому что на кого попало посылать Мурата не хотелось.

Вверху никаких облаков не было. Никто не летел. Все помалкивали и прислушивались к природе. Алексей Михайлович утерся вышитой ширинкой. Афонька приводил Мурата в боевую готовность: смотал с лапок портяночки, отвязал должик.

— Пущай,— сказал государь Хомякову. Видно, заметил что-нибудь в небе.

— Пущай!— заорал Хомяков, и Афонька сорвал с головы кречета бархатный клобучок. Мурат обрадовался свету и пошел вверх. Зазвенел серебряный колокольчик на лапке. Звон тоже ушел вверх.

...Авдей Петраго-Соловаго с шумом выплюнул из камышинки воду.

— Тихо!— булькнул на него Мымрин.

Оба скрывались под речной гладью, выставив наружу камышинки для дыхания, на запорожский манер. Было мелко, и приходилось стоять на карачках. Стояли уже не час и не два. Сверху нагребли речной травы, чтобы не видно было. Мелкие рыбки тыкались носами в соколиные тела. Время от времени Мымрин высовывал из воды голову и с помощью долгой шеи озирал окрестности. Обзор был хороший. Авдей тоже высовывался и часто дышал полной грудью. Ивана Щура нигде не было видно.

Прискакали конные стрельцы из царской охраны — досматривали, нет ли причины, чтобы помешала государевой потехе. Подъячие затаились. Государь не любил, чтобы на охоте были посторонние. Тем более такие опальные, как соколы. Василий с Авдеем уже всякую веру в проклятого старца потеряли.

Авдею очень хотелось придавить Васькино щучье тело к песку и подержать, сколько надо...

— Тихо!— сказал Мымрин.

— Не могу,— пробулькал Авдей.— Меня пиявица сосет. Живой волос внутрь лезет! Ерши колются!!

— Утони!— приказал Мымрин себе и товарищу. Утонули...

— ...Все-таки кречет Мурат был куда как замеча-

тельной птицей: мог охотиться сразу в трех стихиях — на земле, на воде и, само собой, в воздухе. Зорким своим глазом он посмотрел на землю и ничего не обнаружил. Дело в том, что герои наши, устраиваясь в подводную засаду, по своему обыкновению бранились и дрались, так что распугали всю дичь на семь верст вокруг. А вот на поверхности речушки замечалось что-то...

...Мурат развернулся, прицелился и пал вниз. Мурат был сильной птицей. Щуку он вынул бы из реки запросто. Но Авдей Петраго-Соловаго был маленько потяжелей... Когда когти впились ему в спину, он не выдержал, выпростал из-под воды руку и прихлопнул птицу, ровно малого комарика, сгреб в горсть и утащил к себе под воду — поглядеть, кто таков.

Мымрин шум слышал, но узнать причину боялся.

Царь и сокольники видели, как Мурат канул в приречные кусты. Стали гадать — кого принесет.

— Бобра, не меньше!— утверждал Афонька.

Какой бобра! И сам крыльев не унес. Царь забеспокоился, велел искать, обещал перепороть сокольников — подсунули-де больную птицу...

Искали. Все кусты обшарили. Засучивали порты, бродили по речке. Тем часом ветерок стал натягивать тучи. Алексей Михайлович Романов гневался. Мымрин и Авдей сидели как можно ниже воды. Благо, искатели подняли муть. Авдей изо всех сил сжимал зашибленного и утопленного Мурата и дрожал. По реке бежала мелкая рябь от дрожи.

— Водяник поманил,— уверенно объяснил кто-то из сокольников. Искатели чурались водяника, высоко вытаскивали ноги из речки. Проклятой птицы не было. В небесах стало погрохатывать. Царь велел Петру Хомякову налаживаться в Сибирь. Потемнело.

— Кажись, нашарил!— объявил Афонька. Авдей почувствовал, что нашарили именно его. Щекотки он боялся, поэтому выпустил изо рта тростинку и показал голову. Голова была в водорослях. Грянул гром.

— Водяник! Богородица-троеручица! — испугался Афонька и покинул речку. За ним полезли на берег и другие. Сокольники стали творить молитвы, мести полами кафтанов — отгоняли нечистую силу. Засверкали молнии — сперва далеко, потом ближе.

Кто предлагал привести козла — водяник-де бежит козлиного духа. Его самого обзывали козлом. Алексей

Михайлович в карете лютовал. Подняли пыль. Афонька ругал водяника, но в воду не лез.

— Я те покажу, окунево рыло!— строжился он.

Мымрин обеспамятел.

— Надо сеть,— учил один сокольник.

— Не, разрыв-траву ему в очи бросить!

— Воскрёсну прочитать!

Шарахнуло в небесах, и оттуда поплыл огненный шар. Все замерли. Сокольники задрали головы вверх. Подводные сидельцы поняли по тишине, что все кончено, и встали, все в тине и траве. На них никто не обращал внимания. Шар плавал над полем.

Алексей Михайлович молился из всех сил и обещал построить до десяти новых церквей, обновить все оклады на иконах и искоренить беспоповскую ересь, если господь пронесет мимо страшный шар.

Мымрин и Авдей приблизились к берегу. Шара они не видели.

— Не погуби, государь!— заревел Авдей, и в тот же миг шар с грохотом и блеском рассыпался. Все увидели у берега двух ужасных водяников, кои корчились и приплясывали.

Царские кони испугались и понесли карету. Сокольники поняли это как сигнал к отступлению. Они побежали за каретой, потому что их кони тоже всполошились и разбежались по всему полю.

Только Афонька Кельин сумел вскочить на чьего-то коня. Он хорошо помнил, как писано было в наставлении царском: «Если станешь непослушлив, тебе не токмо связану быть путы железными, но и безо всякой пощады быть сослану на Лену». На Лену из-за какой-то паршивой птицы Афоньке не хотелось, он выбрал другую реку — вольный тихий Дон, и погнал коня вскачь.

Хлынул дождь. Подъячие стояли и мерзли. Они не верили в спасение. Авдей все еще держал птицу. Серебряный колокольчик на лапке Мурата жалостно звенел.

— Господи владыко!— причитал государь в карете, уносимой в Коломенское.— Опять беси! Паки и паки беси! Отведи их, господи, сокруши аггелы! Грешен, господи! Более не буду тешиться охотой! Беси! Горе! Асмодей и Сатанаил! Плетить сокольников! Крепко плетить! А еще лучше — батогами!!!

ГЛАВА 9

Грозу быстро пригнало, быстро и пронесло. Появилось светило. Из него шли теплые лучи. Тела соколов согрелись и перестали трястись. Стало далеко видно во все стороны: и луга, и кусты, и лесочек. Зажили птицы. На душе тоже отошло. Подъячие ласково и виновато улыбались друг другу. Они вытащили спрятанную одежду и стали развешивать — сушить. От одежды шел пар.

Васька вскинул руки с портами и похолодел: из куста на него высунулось дуло пищали. Оттуда пахло порохом.

— Ты чего?— спросил Мымрин.

— Ась?— отозвался Авдей не к делу.

В кустах зашипело. Послышались слова «Пся крев», «Курвамаць» и другие полонизмы вперемешку с русскими загибами. Васька завертелся и стал трясти портами, чтобы врагу было трудно целиться. Авдей глядел и думал, что Мымрин просто хочет согреться. Васька решился и бросил порты на дуло. Щелкнуло, да не выстрелило. Васька без страха потянул за ствол и вытянул из куста мокрого и носатого лиходея. Авдей смикитил, что к чему, подскочил и повязал мокрого его же кушаком.

— Хлопы,— заругался мокрый.— Лайдаки, быдло...

— Кто таков?— спросил Васька.

Мокрый надулся и зашипел.

— Пытать будем,— пообещал голый Васька. Авдей согласно кивнул — тоже голый.

— Лотры,— снова заругался пленный.— Негодзивцы!

— Пытай, Авдей!— велел Мымрин.

Пытать приходилось в трудных условиях, голыми руками. Васька пошел срезать хворостину, да Авдей придумал лучше: он страшно ухватил мокрого за гордый нос и принялся неустанно бегать по полю. Очень скоро мокрый замучился и стал на бегу гундеть, что он — пан Дмоховский, человек самого гетмана Сапеги, послан с особым заданием. Авдей отпустил ему нос. Пан изящно встряхнулся.

— То не можно,— сказал он.— То не жечно.

Васька понял, что пан-то дурак. Они стали бить его словесами: Васька с увлечением рассказывал про ката Ефимку, поминал позорное бегство ляхов из Кремля,

предсказывал скорое и неизбежное расчленение Речи Посполитой с ее дурацкими порядками. Авдей спел обидную частушку, в которой паны рифмовались со штанами.

Пану стало туго.

— Мелентия старца знаешь?

— Ниць не вем. То пан гетман пжислал меня до Россыи.

— Зачем?

— Стжелить пана Романова.

— Вот изверг!— искренне возмутился Авдей, а ведь забыл, для чего его самого-то наладил сюда старец-еретик.

— А что ж не стрелял?

— Порох подмок...

Грянул выстрел. Видно, там порох не подмок.

— До ног, хлопы!— вскричал пан Дмоховский.— То стжеляе пан Големба!

Авдей прикинул, откуда стрелено, и побежал туда.

— Ано ж, схизматику!— радовался Дмоховский.— Пан Големба — то наша перша шаблюка!

Мымрин оставался спокоен.

— Перша шаблюка,— плюнул он.— Была...

В кустах затрещало. Впервой Васька видел, чтобы Авдей не тащил пойманного под мышкой, а вел. Пана Голембу было бы трудно нести. У него одни усы были в локоть длиной. Авдей завязал мушкетный ствол вокруг шеи пана Голембы и за этот поводок привел. Паны не по-хорошему поглядели друг на друга, и снова послышалось и «пся крев», и «лайдак», и другие грубости, пока Авдей пинками не призвал панов ко взаимной жечности, сиречь вежливости.

Теми же пинками он погнал их в сторону Москвы. Васька шел сзади и думал, что вот надо же — сколько не хватай, не имай безвинный народишко для показа верной службы, когда-то и доподлинный вражина попадется!

...Ежели впервые увидать ката Ефимку, можно диву даться: то ли Ефимка маленький, то ли кнут у него большой. Кнут у него нормальный, обычный, это сам Ефимка недомерок. Да тем и страшнее: поглядишь на него и неволей задумаешься, за какие такие доблести

взяли этакую пигалицу в каты? И мороз по спине пробежит...

— Здорово, Ефимушка!— хором грянули соколы, загоняя панов в пыточную. Они сразу сообразили, что с такими панами в приказ показаться не стыдно.

— Здорово и вам, соколики,— пропищал кат.— По сколько вам сегодня государь-батюшка назначил?

Ефимке не привыкать было пороть соколов, особенно в последнее время, вот он и спросил для порядка.

— Нет, не видать тебе нынче наших спинушек!— гордо сказал Мымрин.— Тут слово и дело государево! А это кто у тебя сидит в углу?

Ефимка был говорун.

— А это,— сказал кат,— мордвин Кирдяпа Арсенкин. Сидел Кирдяпа в кружале с шорником, Орехом Сидельниковым. Орех тот ему и скажи: ноги-де у тебя, Кирдяпа, кривые. Тогда Кирдяпа ногу на стол и говорит: «У меня-де нога лучше, чем у государя царя и великого князя Алексея Михайловича!». Ну, шорник объявил «слово и дело», стрельцы обоих сюда сволокли. И за те поносные слова велено ему, Кирдяпе, отрубить воровскую его ногу!

Соколы захохотали. Человечек в углу вздрогнул и сжался.

— А шорнику награда вышла?— ревниво поинтересовался Мымрин. Не любил он, когда кого-нибудь, кроме него, за донос награждали.

— Орех-то Сидельников?— спросил Ефимка.— Так он у меня еще утресь на дыбе помер, не выдюжил. Доводчику первый кнут!

Соколы еще посмеялись, выпили маленько с Ефимкой и тогда перешли к делу.

— Видишь, Ефимушка,— сказал Васька,— какие у нас тут важные паны-ляхи? Ты бы поспрашивал их как следует, что они нынче утром на Телятиной речке делали? Да пусть Возгря их расспросные речи в точности пишет!

Ефимка так поглядел на панов, что они сами бросились, толкая друг дружку, к писарю Возгре и наперебой начали признаваться, сваливая все друг на друга и на гетмана Сапегу.

— Вон тот усатый,— ткнул Ефимка в пана Голембу,— для дыбы в самый раз. А вон тот носатый,— он ткнул в остального пана,— под кнутом хорош будет...

— Тятенька,— запищал кто-то еще тоньше, чем

Ефимка,— Носатому-то еще в ноздри жженой пакли ладно было бы!

— Дело говорит малютка,— обрадовался кат. Из-под стола вылез малец лет пяти, вылитый Ефимка, но без бороды. А все равно, хоть и малец, глядеть на него страх брал. В ручонке малютка держал ладненький кнутик.

— Сынок мой, Истомушка,— похвастался Ефимка.— Пройдет время, и мой срок исполнится: рука ослабнет, глаз завянет. И передам я Истоме Ефимычу кнут этот, яко скиптр...

Запала тишина. Ефимка сообразил, что сказал не к делу.

— Ну-ка, ну-ка,— сказал Мымрин.— Какой такой скиптр? Ты что, себя, ката, с государем равняешь? Да государь не знает, с какого конца за кнут берутся! А вот ты ведаешь ли, Ефимушка, что и на ката кат бывает?

— На меня, что ли?— обиделся Ефимка.— Да я на всю Русь первый кат!

— А для тебя нарочитого ката привезут,— сказал Василий.— Из Сибири. Ерема звать. Он о запрошлом годе на спор с воеводой Пашковым плетью обух перешиб. Кто видел, сказывают: будто булатным клинком размахнул.

Ефимушка перепугался страшных своих поносных слов да и будущей встрече с сибирским собратом не порадовался.

— Детушки, да вы что? Я ли вас не миловал, вполсилы не хлестал?

— А ныне в четверть только будешь! А то живо доведем те слова твои. Хотя навряд мы с тобой теперь встретимся,— опрометчиво сказал Мымрин, а сплюнуть через плечо позабыл.

— Э, а мордвин Кирдяпа-то где?— забеспокоился кат.

И правда: пока мальцом любовались да лясы точили, хитрый Кирдяпа выскочил потихоньку из пыточной, как-то караульных стрельцов обошел и был таков.

— Мы, выходит, приводим,— сказал Мымрин,— а вы, выходит, распускаете? Негоже то...

— Ништо,— беспечно отвечал кап.— У меня дотемна все одно кто-нибудь помрет. Оттяпаю ему ногу и скажу,

что Кирдяпина. Там ничего не сказано, чтобы его без ноги еще тут держать...

— Ох, и дошлый ты мужик, Ефимка!— восхитился Авдей.

— Тем торгуем,— пропищал кат.

Ефимка и сын его, оба в одинаковых рубахах с закатанными рукавами, проводили соколов до ворот и вернулись разбираться с панами.

...Узнав о чудесном своем спасении, государь не помнил себя от радости.

— Вот это слуги! Вот это радетели! Все бы так! Вы бы еще мне клад князя Курбского открыли — цены бы вам не было. Чем же мне вас наградить, соколы вы мои ясные? По шубе, наверное, надо выдать...

Соколы стояли в низком поясном поклоне. Тут государь-царь заметил в рыжей волосне Авдея что-то зелененькое. Он подошел ближе и рассмотрел. То была веточка водоросли. Авдей с той поры не только не помылся (вода, видно, надоела), а и волос не чесал.

— А-а, вот оно что!— вскричал самодержец.— Так это вы, сукины дети, голяком из речки выскакивали! Это вы моего любимого кречета погубили! Вы коней перепугали! Да вы мне не только коней, вы мне людей перепугали! Сокольники мои, сказывают, и во сне от водяников спасаются, ходят под себя! Да сам-то я...— тут государь осекся, потом собрался с силами и продолжал:— Спасители! Вот уж воистину — лекарство пуще болезни!

— Виноваты, государь!— упал в ноги Авдей.

— Это паны проклятые все!— упал в ноги и Васька.— Мы, государь, не тебя, панов пугнуть хотели как следует, чтобы и дорогу в наши края забыли... Смилосердуйся, для тебя старались...

Романов потрогал соколиные головы ногой.

— Афоньку Кельина, сокольника, куда дели?

Мымрин поднял голову.

— Не трогали, как бог свят, не трогали!

Государь помолчал, походил по горнице.

— Ин ладно,— сказал он наконец.— За ляхов-злодеев я вас награжу: не велю казнить смертью.

Соколы и тому были рады.

— А вот за кречета моего любимого,— продолжал

государь,— я с вас крепко взыщу. Так взыщу! Ступайте в театральную хоромину и скажите немчину Грегори, что государь-де отдает ему вас головой. Пострадайте для потехи государевой.

— Государь-надежа!— взвыли соколы разом.— Лучше Ефимке отдай, только не немчину Грегори! Уморит он нас, а нам еще клад искать!

— А это уж как хотите,— сказал царь.— Да Ефимку вовремя помянули: дорогой к нему зайдете, пусть всыплет вам по двадцать пять горячих. Скажите — я велел.

ГЛАВА 10

Всего было много у Алексея Михайловича. И диковинные растения в садах в Измайловском росли, и заморские звери в клетках бегали. Даже китайские золотые рыбки и те в хрустальных вазах плавали, дохли, правда, часто.

А потом решил государь, что не худо бы на Руси театральные действа начать представлять. Вон у Людовикуса во Франции — куда ни плюнь — театр на театре. Молиер, сказывают, какой-то насмешничает.

Когда-то, во время оно, повелел государь всю скоморошину на Русской земле разогнать. Гудки, жалейки, сопелки, домры, бубны, хари и машкары мерзостные были преданы огню, а скоморохов поставили в батоги. Так то скоморохи. Потому за каждой ватагой человека не пошлешь проверять, что они там представляют. А они известно что представляют — как холоп боярскую жену огулял, как пьяный поп обедню служит. От попа до боярина, от боярина... и молвить страшно! И то бывало, редко, да бывало.

А театр такой завести, чтобы на одном месте стоял, всегда под боком. Так-то не повольничаешь. И представления таковые давать, чтобы к вящей славе государевой способствовали.

Сказано — сделано. Нашли в немецкой Кокуй-слободе ученого лютеранского попа Ивана Грегори. Государь прямо так и сказал — или ладь театр, или ворочайся в свои немцы без штанов, как на Русь явился (батоги сами собой разумеются, как в этом деле без батогов).

Немцам на Руси такое житье было, что уходить без штанов пастору Грегори ну никак не хотелось.

Построили хоромину, набрали и артистов — школьных детей. Они потом государю челом били: «По твоему великаго государя указу взяты мы, сироты твои, в камедию, и ноне нас в школе держат и домой не отпущают, а твоего жалованья, корму нам ничего не указано, помираем голодною смертию. А мы, холопы твои, учимся денно и нощно под караулом».

Может, жалование какое и было, и корма были, но вряд ли бы они через немцев прошли. Если уж взялся пастор Грегори, так уж наверное, не за так.

Показали первую комедию — «Артаксерсово действо». Десять часов отсидел Алексей Михайлович, глядя на сцену. Ну да ему не привыкать было — на приемах сидеть не меньше приходилось, а на пирах и говорить нечего.

Добром, конечно, в артисты никто не шел, а попадали туда примерно так, как соколы наши: служба государева, и все тут. Один с соколами возится, другой комедию представляет, и все при деле.

...Немчин Грегори посмотрел на Авдея с Васькой сквозь стекла на носу:

— Сафтра будем тафать комедиум «Бахус унд Венус». Бахус дер готт пьянства есть, ферштеен?

— Дело знакомое,— сказал Авдей.

— Венус — либе, люпофь есть, ферштеен?

— Натюрлихьяволь!— отличился Мымрин.

— Нун, гут,— сказал пастор.— Роль Бахус занят. Роль Венус тоже занят. И занят роль Купидон. И роль шут, и роль вестник, и роль бордачик — все роль занят. Есть роль пьяниц лежащих. Вы лежать рядом с бочка Бахус. Как Бахус вставать с бочка, вы кричать: виват, Бахус! Это значит многолетие, зо? На сцене не говорить, не вставать, лежать якобы пьяный, ферштеен?

— А что, дело знакомое,— улыбнулся Васька.— Отчего и не полежать для дела? Можно и выпить, чтобы вовсе похоже было.

— Но, но, но. Тринкен ферботен. Если вы пить ко-

медийный хоромина, я посылать вас кат Ефимка. Это есть палач. Аллес.

Аллес так аллес. Соколы вежливенько попрощались со строгим немчином и пошли восвояси: нужно было выспаться перед завтрашним действом.

— Вот это попали из огня да в полымя,— сказал Авдей.— Ну как нас кто-нибудь узнает? Срам-то, срам-то какой!

— Государева служба — срам?

— Разве ж это служба — пьяным валяться? Так-то всю жизнь бы служил государю верой и правдой, да только не в комедийной хоромине. Люди узнают — смеяться будут!

— Не узнают,— сказал Василий.— Немчин толковал, что всю лопоть казенную выдадут. А хари мы себе углем да свеклой вымажем, будто месяц из кружала не вылазили, и не узнают...

...На самом хорошем месте сидел, конечно, государь-царь. Бояр в хоромину набилось видимо-невидимо, почитай, вся Бархатная книга собралась. Женщин не было — не положено. Только на галерее, за деревянной решеткой, сидели царица Наталья Кирилловна и ее мамки-няньки.

Зазвенели медные трубы, давая знать, что действо вот-вот начнется. Соколы лежали на своих местах. Немчин, к слову сказать, похвалил их намазанные хари и сказал даже, что будет просить государя, чтобы Ваську с Авдейкой навсегда перечислить в актеры. И ведь перечислят, думали соколы, коли не найдем Щура и клада. Да хорошо, если только в актеры, а не в каторжные...

Трубы зазвенели вдругорядь. Авдей лежал и тихонько причитывал:

— Соромно мне, Вася! Совестно!

— Терпи! Соромно ему! Нас таких тут сорок, и всем соромно.

— Лежим, а вор, может, клад наш берет!

— Молчи!

Третий раз грянули медные трубы. Вышел молодой паренек (соколы узнали его, это был сын лекаря Блюментроста) и начал читать вирши:

По всей вселенной, во все мира страны,
Где свет солнечный бывает видаиы,
Где солнце восходит и где западает,
Всякая страна царску славу знает.

Вирши были длинные, Авдей несколько раз принимался засыпать с храпом, но Мымрин спасал его, пихая кулаком. Наконец, началась и сама комедия о Бахусе и Венусе. Четверо дюжих служителей вытащили на сцену бочку ведер на сорок, а на бочке мужика, как бы голого, но всего как есть увитого настоящим плющом. И пошла комедия.

Бахус: Кто хмельное зелье часто потребляет,
Всяк во мне Бахуса в един час узнает:
Пью непрестанно, плющем увившись,
Гимны сам себе слагаю, упившись.
Зелие хмельное ум просветляет,
Немощным силу чресел прибавляет,
А чтобы совсем не поразило пианство,
Надобе к тому иметь постоянство.

Соколы лежали рядом с бочкой и видели только ноги Бахуса, обутые в лапти с ремнями.

— Дело говорит Бахус,— заметил Авдей.

— Точно,— прошептал Мымрин.— Я как выпил — дай да подай мне Дарьицу-Егозу...

Между тем Бахус продолжал:

Зелена вина с утра коль напьюся,
Аи, глядишь, к обеду вновь тем зальюся,
Оттого-то я похмелия не знаю,
Недугом тем нимало не страдаю.

— Хорошо ему, Бахусу,— позавидовал Авдей.

— Плохо ли!— согласился Васька. А Бахус рек:

Всякому-то я, Бахус, любезен,
Для здоровья зело полезен,
А кто отвергает мое угощенье,
Тому реку ума помраченье!

— Я тоже заметил,— сказал Авдей.— Все непьющие чудные какие-то, как бы с придурью.

— Ага,— сказал Мымрин.— Данилу Полянского взять...

Бахус высоко поднял чашу, как бы выпил ее и рек:

Бахус потребен всему свету,
Никакого мне супротивника нету.
Магмет турецкий вина избегает,
Оттого-то, видно, бит всегда бывает.

Государь засмеялся, и все засмеялись вдогонку.

— И это правильно,— сказал Мымрин.— Когда я в Стекольне был, там на приеме у короля персидский посол чашу романеи опростал — и дух вон.

— Да ну, с чаши-то? Ему, поди, туда яду набуровили! Да хватит, давай послушаем!

Бахус: Выходи, кому не жаль своей плоти,
Меня, Бахуса, попытай бороти.
Не только славы себе не добудешь,
Ниже, аки пес шелудивый, бит будешь!
Всяческим оружьем я, Бахус, владаю,
Аглицкий кулачный бой и то знаю.
Выходи скорее на битву жарку,
А я пока опростаю чарку!

— Пойду-ка я,— сказал Авдей, пытаясь подняться.— Чего это он тут ячится? В самом-то чуть душа жива, а туда же...

— С ума слетел,— зашипел Мымрин.— Это он по действу так говорит, а не тебе. Смотри, смотри: баба!

Появилась и вправду баба, вся в цветах, в пречудном и преудивительном платье: вроде и платье сверху, а вроде и нет ничего. Бояре загудели. А баба говорила:

Кто меня, Венус всеблагу, не знает,
Себя тот жестоко обкрадает.
Боги олимпийски, и те мне подвластны.
Твои же, Бахусе, словеса напрасны.
Скот сущеглупый, что бога не знает.
И тот в томлении любовном пребывает.
Венуса бежать не годится:
Жуколица малая, и та плодится.
Мужи седовласы, Хроносом почтены,
Такожде бывают Венусом сражены:
От стрел любовных духом молодеют,
Конечности их уж боле не хладеют,
Сила младая по жилам пробегает,
Жертву мне, Венусу, принесть принуждает!

— Знаешь, Авдей,— сказал Мымрин.— Пытает меня давеча тот немчин Грегори: варум, дескать, ваш герр Полянский хабен цвай намен — Иоганн унд Данило? Я толкую, что Иван — молитвенное имя, для бога, стало быть, а Данило — для мирской жизни. А немчин дош-

лый, смеется: кого-де ваш герр Полянский объегорить хочет: господа или мир?

Авдей ничего не ответил. И на бабу тоже не смотрел: принюхивался Авдей. Если у Васьки был нюх, так сказать, умственный, то у Авдея натуральный, как у собаки:

— Васька,— прошептал он.— Ведаешь ли, что в бочке той?

— Неужто вправду с винищем?— удивился Васька.

— Кабы с винищем! Порох тамо!

Прошибло Мымрина холодным потом. Приподнял голову, стал разглядывать бочку. А Бахус с бочки вещал:

А ну-ка, Венус, прнкрой себя, голу,
Внемлн моему глаголу:
Лучше тебя я, Венус, то знаю,
Поелнку тем же свойством владаю.
Кто возжелает со мной упнться,
Тот такожде омолоднтся —
По земле ползет, младенцу подобно.
Языком лепечет незлобно.
И скот мне подвластен в этом роде:
«Акн лошадь, пьет»— рекут в народе.
А колн где сядут пнть до свету,
Там тебе, Венус, места нету!

— Гли-ко, Авдей, а вот и фитиль!— сказал Васька.

— Поди, потешные огни станут пущать,— сказал Авдей.

— Хороша потеха, да мне не до смеха. Коли эта бочка да полыхнет, никого вживе не останется...

Ни Бахус, ни Венус не обращали внимания, что на полу кто-то бормочет, увлеченные своим разговором.

Венус: Бахус злонравный очн залнвает,
Ннчего о любовн не понимает,
Одной мне с ннм не совладатн,
Неволею прнходнтся Купндо зватн!

Мымрин тяжко (все же пьяного показывает!) перевернулся на спину и стал приглядываться к Бахусу, которого тем временем крылатый мальчонка пристрелил из лука.

Бахус: Увы мне! увы! Прегорько стало!
Вндно, выпнл я нынче мало.
Во грудн моей огнь с тех пор пылает,
Ннкак оный не угасает.

По тебе, Венус жестоко страдаю,
Что и творити, отнюдь не знаю...

— Я зато знаю, что творити,— прошипел Васька.— Авдей, как я тебя ногой торкну, скакивай и имай Бахуса!

Соколы разом вскочили и, возопив велегласно: «Слово и дело государево!», крепко схватили Бахуса с двух сторон. Другие актеры подумали, что пьяницы раньше времени начали славить Бахуса. Им показалось не «слово и дело», а «многая лета». И они в сорок глоток рявкнули:

— Многая лета! Многая лета! Многая лета!

Государь и другие зрители подумали, что так и положено. Тщетно немчин Грегори метался по сцене, пытаясь навести порядок. Авдей отпихивал немчина ногой. Актеры продолжали провозглашать многолетие. Бояре подняли шум. Государь уши заткнул. А в крепких руках соколов бился бритый, плющом увитый, но все-таки узнанный, Иван Щур.

ГЛАВА 11
И ПОСЛЕДНЯЯ

Нет, хорош, хорош государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, царь Тишайший! И гневлив, да отходчив, и скуп до смеха временами, да другими временами щедр без меры.

Вот и нынче с лихвой наградил он соколов, другожды его спасших: снова не велел казнить до смерти. А за то, что все действо испортили, спосылал к Ефимке.

Ивашка Щур не запирался на спросе, только потребовал, чтобы государь его выслушал с глазу на глаз. Государю с таковым вором и злодеем говорить вроде бы невместно, да и страшновато. Всю-то ноченьку Алексей Михайлович ворочался с боку на бок: то в нем страх с алчбою боролись. К утру алчба свое взяла: привели скованного цепями вора в государевы палаты. Алексей Михайлович всех отослал прочь, чтобы не слушали. На случай же, если вор вздумает учинить какое дурно, оставил одного глухонемого арапа с пищалью. Соколы так и не узнали, что за разговор был у царя с шишом.

Поздно вечером государь призвал соколов и сказал:

— Что да к чему — вам знать ни к чему. Доподлинно скажу только, что клад тот есть, велик и несметен. И ежели вы, негодяи и бездельники, мнили, что сами добыть его можете, то вот вам мой царский кукиш!

И вправду показал кукиш. Ежели его, этот кукиш, взять сам по себе, то и не подумаешь, что царский.

— Положил князь заклятье, чтобы открылся клад только царской крови! Делать нечего, придется самому ехать. А вы — со мной. Вора возьмем, вор место укажет. Вор, поди, думает под шумок бежать, а того не знает, что я приказал весь город караулами обставить. Вчетвером поедем.

— Государь-надежа,— сказал Мымрин, которому совсем не хотелось еще раз связываться с хитрым Щуром.— А что бы нам взять целую стрелецкую сотню?

— Эх,— сказал государь.— Учат вас, учат, а чему учат? Неужели не ведаешь, холоп нерадивый, что если заговоренный клад начнет чужой человек брать, он на аршин в землю уйдет? И так вас со Щуром трое — уже три аршина. А сотня стрельцов топтаться будет — колодезь копать, что ли? Опричь того, про клад тот только вы и ведаете, а боярам моим ни к чему. Коли узнают про толикое богатство, не поглядят, что и царь. Я ли бояр своих не знаю?!! Беги, Авдюшка, в кладовую, возьми там два заступа да мешков под золото поболее. Да смотри, чтобы никто не видел! Ключник, и тот чтобы не видел. Лучше сломай замок-от...

Мымрин глядел на государя и дивился. Вчера еще был квашня квашней, а нынче ни дать ни взять — атаман казачий. Вот что золото с людьми-то делает, всех равняет — и царя, и псаря. Со стороны глянуть — не государь с холопом, а два татя сговариваются пошурудить в чужой подклети..

— А что с Ивашкой делать? — спросил Мымрин с тревогой.

— Когда клад объявит, нимало не медля зарезати!— велел государь, царь Тишайший.— Зарезати, и в ту яму метнуть, засыпать землею. Здесь же, в приказе, объявить — вор-де бежал.

— Ой, государь!— спохватился Васька.— Так ведь мы тогда тебе сдуру при дьяке Полянском повинились! Он тож ведает!

Государь маленько подумал.

— И Полянского зарезати!

Мымрин не мог укрыть восхищения:

— Ну, государь-батюшка! Уж коли мы — соколы, то ты у нас вовсе орел!

— Вестимо, орел! — согласился Алексей Михайлович. — Не век же я на троне сидел. Я и на коне, я и саблей... Из пистоли промаху не знаю... Я бы и сейчас верхом, да надо под золото карету взять. За кучера будешь.

Государь и оделся соответственно: то ли купец, то ли не шибко богатый дворянин. Только кафтан был ему малость узковат, и приметливый Васька увидел, что государь-то орел в большей степени, чем ранее казалось: за поясом у него были две пистоли, не на соколов ли приготовленные? Промаху, говорит, не знаю...

Карету выбрали тоже не парадную, простую. С трудом запрягли, потому что никто не умел. Государь прикидывал, войдет ли все золото в карету, не придется ли делать второй ездки.

Авдей сходил в застенок за Щуром, хорошенько проверил железа, в которые вор был закован, подумал, что не худо бы на него «стул» надеть, да уж недосуг. А напоследок, как уходил, разбудил жившего при пыточной же ката Ефимку (хотя государь настрого запретил подымать шум) и с великой радостью, ото всей-то душеньки, брязнул его по зубам, мало не зашиб совсем. А и зашиб, не велика беда, малый катенок Истома подрастет.

Ехали в темноте и молчании. Мымрину пришлось слезть с облучка и вести коней в поводу, держа перед собой горящую просмоленную паклю на палке. Щур время от времени говорил, налево либо направо надо ехать. Гремели от тряски цепи на воре и лопаты под ногами. Иногда встречь кареты выходили караульные стрельцы, но, увидев, что карета государева, пропускали без слов. Мало ли по какому делу мог послать свою карету Алексей Михайлович!

У одного стрельца Мымрин отобрал добрый факел, а свою наспех смастряченную палку с паклей выбросил.

Выехали на пустырь. В ближних домах не было ни огонька. Щур сказал остановиться. Авдей вывел его из кареты. Васька с факелом подошел к ним.

— Веди, ворина!

Государь продолжал сидеть в карете.

Наконец раздался возмущенный вопль Авдея:

— Государь-батюшка, да тут помойная яма!

Алексей Михайлович, кряхтя (и помочь-то не догадаются, олухи!) вылез из кареты.

— Для кого помойная,— говорил он на ходу, волоча заступы (и захватить-то не могли, срамцы!),— а для царской крови сейчас преосуществится во благоухание росного ладана, мирра и нарда... Благорастворение воздухов... Так всегда с кладами, не знаете, что ли?

Но благорастворение не торопилось. Государь обошел яму и встал чуть поодаль от соколов и Щура. Яма как яма, чего в ней только нет, в ней и положено быть чему попало...

— Полезайте, коли уж приехали,— сказал царь и бросил к ногам холопей своих заступы.— Может, оно не сразу...

— Пущай ворина раньше лезет,— возмутился Мымрин.

— И то,— согласился Авдей и начал подталкивать Ивашку в яму. И тут произошло небывалое. Скованный по рукам и ногам Щур сделал неухватное глазу движение, отчего цепи упали на землю, а соколы, матерно в царском присутствии ругаясь, полетели в глубокую помойную яму. Государь, не ведая от изумления, что творит, ногой спихнул им заступы. От падения соколов вонь от ямы пошла вовсе нестерпимая.

Иван Щур, держа в руке факел (и когда успел выхватить у Мымрина?) подошел к государю и вытащил у него из-за пояса пистоли.

— Это не царское дело,— пояснил он.

Алексей Михайлович не мог слова молвить. Наконец собрался с силами:

— Ты для чего, вор, учинил такое?

— Для души,— спокойно ответил Щур.— Очень хотелось государя царя и великого князя на помойке увидеть, а псов твоих — в яме поганой... Я бы и тебя туда посадил, кабы не боялся, что державе позор выйдет. Станут еще говорить: на Руси-де царь на помойке найден... А и быть вам, царям да боярам, на помойке, помяни мое слово! Жаден ты, царь, как последний купчишка в Зарядье! Книжную премудрость превзошел, а того не знаешь, какие такие богатства у князя Курбского могли быть, а коли и были, их давно Иван Васильевич

в свою казну отписал... Клад я тот выдумал, чтобы Никифора Дурного обмануть, так на то ему и фамилия дадена: Дурной. А ты, яко бабка старая, в клады заговоренные веришь! И под таким-то вся Русь ходит!

Соколы в это время тщетно пытались выбраться из ямы. Авдей попытался подсадить Ваську, но от тяжести еще глубже уходил ногами в сметье.

— Это не я их в яму посадил,— продолжал меж тем Щур, глядя на возню под ногами. — Это ты их в яму посадил. Им бы цены в другое время не было, Ваське да Авдюшке, а ты из людей псов сотворил, ну и получай. Ты русского человека честь в других землях велишь высоко держать, а здесь под ноги себе мечешь. Говорите: мужик-де русский ленив, а немчины вам поддакивают. Да может ли мужик вас прокормить, коли вы приучены в три горла жрать? Жаль, не смог я тогда все племя ваше порохом взорвать — свежее бы на Руси стало! Одним обедом твоим две деревни накормить можно — кто ты такой, чтобы их объедать? Может, ты полки водишь, врагов державы повергаешь? Нету того. Может, ты, как царь Соломон, суд праведный творишь? И того нету. Так на кой ты нам нужен?

Щур подошел к карете и залез на облучок.

— Ныне с Москвы схожу,— сказал он.— А ведь вернусь. И не один вернусь — слыхал же, что Степан Тимофеевич в Астрахани вашему племени устроил? Как бы тебе в эту яму самому не пришлось лезть — прятаться...

Царь как стоял, так и стоял. А что сделаешь? Крикнуть — голоса нет...

— Ин прощевай, Алексей Михайлович! И помни накрепко эту яму! Помни, что русский человек до времени терпит! Не быть крепку царству, стоящу на доносе и ябеде!

Он хлестанул коней, свистнул и покатил вон из Москвы, во все горло орал при этом: «По государеву делу!», чтобы караульные стрельцы не чинили препятствий. Докатит небось до рогаток, выберет коня получше, (а выбирать трудно, кони-то царские!), да и помчится к Степану Тимофеичу. Может, сложит голову в бою либо на плахе, а может, долго будет колобродить по Руси, пугать боярское племя...

Факел, брошенный Щуром, догорел. Наступила темнота. Соколы в яме притихли. Вышла из-за тучи луна,

и увидел самодержец, что стоит он на пустыре одиноднешенек. И вот тогда-то он закричал не своим голосом. Из домов никто не вышел, думали, просто так — режут кого-нибудь. Могли и вправду подойти тати и зарезать — был бы тогда еще однн царь-мученнк, невинно убненный...

На царское счастье, выбрел в пустырю безместный поп Моисеище. Попа Моисеища только что с велнкимн трудамн выбнлн нз кружала за святотатственную попытку пропить наперсный крест. Поп шел злой н алчущнй злость эту сорвать на блнжнем своем. Самым блнжннм и оказался Алексей Мнхайлович.

Другой бы на месте попа Моисеища спросил у одинокого прохожего: «А по морде хочешь?». Но поп Монсенще и в самом непотребном виде твердо помнил, что на него возложен сан. Поэтому он не спросил, а вопросил:

— А не дерзнуть ли тя по лику, сыне?

Когда же присмотрелся, понял: не дерзнуть. В молодостн поп Моисеище принимал участие во многочисленных диспутах о вере, покуда диспуты эти еще допускались. Алексей же Мнхайловнч в молодости был до таковых днспутов велнкий охотннк. Моисеище доподлинно признал государя и повалился ему в ноги. Государь продолжал кричать — тоненько-тоненько уже, и поп сообразил, что с ним неладно. А сообразив, подхватнл царя в охапку, как малое днтя, и побежал в сторону Кремля. Набегавших стрельцов он отгонял громовым рычанием: «Слово и дело государево!».

В царских палатах уже всполошилнсь. Алексей-то Мнхайлович ладнл вернуться с золотом до рассвета, а не вышло. Так что навстречу Моисеищу бежала целая толпа челядн, а впереди всех дьяк Иван (Даннло) Полянский. Он выхватил царя нз объятий Моисеища, начал прнводить в чувство, плакал горько и от сердца. Полянский пережил государя, и невдомек ему было, что тот однажды велел его «зарезати».

Прндя в себя, царь первым делом приказал скакать к яме и казннть соколов на месте. Прискакалн, н веревку броснли, а взять соколов не смогли: так противно было, даже кони стрелецкне шарахались. Соколы это заметили и сталн разгонять стрельцов, швыряя в ннх всякой пакостью, что набнлась в карманы и за пазуху. Поправил дело кат Ефимка, одыбавший малость после

Авдея. Он на расстоянии мог стегать соколов кнутом, вот и погнал их по городу. И впервые услышал от горожан Ефимка добрые слова:

— Так, так, Ефимушко! Ожги его! Перепояшь! Любо! Ой, любо! Гони их, Ефимушко, подале, чтобы духу их не было!

Ефимушка гнал их, гнал, пока сил хватило. Куда потом подевались соколы — неведомо, да уже и неинтересно. Такие нигде не пропадут, жить будут, покуда не найдется добрый человек, не посадит их на законное их место — в помойную яму.

Про страшный этот случай велено было забыть. Поэтому ни в каких документах никаких следов не осталось. Алексей Михайлович, должно, помнил, оттого и помер рано...

Да еще помнил безместный поп Моисеище, коего поили по государеву указу во всех кабаках и кружалах за так. Говаривал поп Моисеище, надувшись винища:

— Гряду я это, братие, из кружала. Ошую и одесную — тьма воистину египетская. Смотрю — впереди свечение, как бы с Фавора исходящее... Гряду далее — и зрю рядом с мерзостью запустения миропомазанника нашего богоданного...

Но ему, понятное дело, не верили.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

УСПЕНСКИЙ Михаил Глебович

ДУРНОЙ ГЛАЗ

ИБ № 1478

Редактор **В. Д. Вагнер.** Художественный редактор **Т. Е. Ильющенко.** Художник. **Е. П. Нехорошкин.** Технический редактор **Н. Н. Шабля.** Корректор **В. П. Васильева.** Сдано в набор 27.01.88. Подписано к печати 21.03.88. АЛ00037. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бум. тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,88. Усл. кр.-отт. 5,46. Уч.-изд. л. 5,18. Тираж 30 000 экз. Заказ 19. Цена 35 к. Красноярское книжное издательство, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 98. Типография «Красноярский рабочий» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 91.


СУПЭР РАЛЛИ
ВОР
10000 Р


35 к